

# Артём Серебряков Фистула



Содержит  
нецензурную  
брань

**18+**

КНИЖНАЯ  
ПОЛКА  
ВАДИМА  
ЛЕВЕНТАЛЯ



**Артём Серебряков**  
**Фистула**  
Серия «Книжная полка  
Вадима Левенталья»

*Текст предоставлен правообладателем*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=63415776](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63415776)*

*Фистула: ИД «Городец»; Москва; 2021*  
*ISBN 978-5-907220-56-0*

### **Аннотация**

Тема запретной любви к родной сестре в истории русской литературы не нова – от Карамзина до Набокова к ней подступались самые талантливые писатели. Но молодому Артёму Серебрякову удалось развернуть эту тему по-новому, сделав ее основой для жуткого и захватывающего полотна в духе Генри Джеймса и Эдгара По. **[i]Содержит нецензурную брань![/i]**

# Содержание

Патетическое вступление от молодого Автора, предваряющее речь героя	4
Фистула	5
ut – re	6
Конец ознакомительного фрагмента.	81

# Артём Серебряков

## Фистула

### Патетическое вступление от молодого Автора, предваряющее речь героя

внутри нас живёт страшное и невыразимое. когда оно выходит наружу, мы за неимением подходящих слов называем это злом. следовало бы назвать это человечностью

у человека нет собственного лица. у его истории нет финальной черты. то, что есть: отражения и сны, мелодии и метаморфозы, перестановки слов и остановки речи

там, куда речь не заходит, начинается литература. она утаскивает жертв в своё логово, и они ничего не могут поделать. глуп тот читатель, что думает, будто он охотник

охотник давно уже мёртв и вынужден вести посмертные записки

# Фистула

Из всех чудовищ, настоящих и вымышленных, по правде ГЕРОИ БОЯЛИСЬ МИНОТАВРА И МЕДУЗУ. МИНОТАВР СДЕЛАН ИЗ МЯСА, ОН СТРАШНО велик, у него жестокие сильные руки и голодный живот. Его гнев – это боль, охватывающая всё тело. Медуза СДЕЛАНА ИЗ КОСТИ, ОНА ПЕРЕДВИГАЕТСЯ НЕСЛЫШНО, У НЕЁ ЛЕДЕНЯЩИЙ КРОВЬ ВЫСОКИЙ ГОЛОС И ПОДОБНЫЙ СМЕРЧУ взгляд, приколачивающий К СТЕНЕ. Её гнев – ЭТО попытка, останавливающая ВРЕМЯ.

Минотавр столь страшен, что нельзя говорить слишком громко, дабы он не услышал. Медуза столь страшна, что ей ЛУЧШЕ НЕ ПОПАДАТЬСЯ НА ГЛАЗА.

Те, кто рождён в логове чудовищ, обречены. Пока глаза чудовищ открыты, оттуда не выбраться навсегда. Герои знали это, но знали и как можно спастись от гнева, на время. Можно притвориться спящими, раздавленными тяжестью дня, и взгляд чудовищ скользнёт мимо. Можно спрятаться в ящике для одежды. Оказавшись у гнева в кулаке, нельзя просить пощады, ЭТО ТОЛЬКО СЖИМАЕТ КУЛАК СИЛЬНЕЕ. НУЖНО ПОКОРНО МОЛЧАТЬ. В МОЛЧАНИИ ВЕСЬ СЕКРЕТ.

## ut – re

Снилась аплизия. Ползла по мне, по вытянутой многометровой руке, тонкой, но крепкой, с набухшими почками и прожилками. Странно было, что она не падала. Доползла до локтевого сгиба, оставляя мокрый след, как вдруг вдали, где подрагивала пальцами неподконтрольная мне кисть, возникли в воздухе три лезвия шириной с кулак, тонкие до полупрозрачности, но звонко-острые и прочные – я почувствовал это, когда они одно за другим полетели вниз и ударили по пальцам, отрезая кусочки. Когда третье лезвие упало, задев не только средние пальцы, но и мизинец, первое вновь поднялось. Когда оно полетело вниз, чтобы резать дальше, в воздух вернулось второе. Все три попеременно взлетали и падали, быстро, шинкуя руку, точно стебель сельдерея (и с таким же звуком), а моллюск медленно полз по плечу, и, когда лезвия догнали его, из склизкого тела раздался невозможный вопль, и чернила забили, и всё стало тёмно-фиолетовым, даже боль, даже вспышки монотонного стука в мучительно недостижимой глубине черепа. Я проснулся в кислой духоте плацкартного вагона, но ещё была ночь. Два двадцать три.

Снилась постель. Я сидел на ней, опустив голову, глядя на руки. Теперь они были обычных размеров. Почти не слушались меня, да я поначалу и не просил, просто рассматри-

вал ничем не прикрытые корневища вен и побеги сухожилий. Зазвонило – то ли старый будильник, то ли школьный звонок, – и я хотел посмотреть, откуда звук, но шею заклинило, и голова просто висела, становясь всё тяжелее. Куда это годится, сказал я себе, продолжающему смотреть на взбунтовавшиеся руки. Кожу на левой щеке больно потянуло, нижнее веко пошло за ней, и бледно-бежевая клякса капнула на ладонь. Губы сводило куда-то влево, кривило нос, глаз почти перестал видеть, и с лица капнуло ещё. В следующую кляксу примешалось немного белого – от глаза. В следующую попали кровяные пучки. Рукам казалось, что это каплет воск. Кожа потекла по подбородку, голову немного накренило вправо, и оставшимся глазом я заметил, что эти руки, которые я наблюдал весь сон, росли не там, где требовалось, а из впадного моего живота, оголённого, сморщенного, с распухшей кнопкой воспалённого пупка. Это меня несколько не удивляет, пошутил я самому себе, и так проснулся. Ночь всё так же дребезжала, на соседней койке отчаянно храпела большегрудая женщина, свесившая ногу вниз. Четыре шестнадцать.

Снилась девочка. Стояла передо мной, прикованным по рукам и ногам к холодной сырой стене. То ли высокая, то ли низкая, с каким-то лицом, даже почти без лица, и в белом, белейшем платье. На мне же не было никакой одежды, а каким было лицо, я понять не мог. Она положила руку мне на грудь, провела до живота, а потом вверх, до ключицы, и стала поглаживать шею и разминать, слегка пощипывая. Это тяну-

лось долго и после мгновений совершенной темноты, наступавших, когда большой палец нежно проскальзывал по челюсти и нижней губе, возвращалось – и продолжалось, пока она не нащупала мой кадык. Шею начало сводить, а пальцы задвигались быстрее и быстрее, надавливая на хрящ. Ногти царапали кожу. Наконец она надавила особенно сильно, сжала пальцы, потянула на себя, дёрнула – и вырвала кадык с мягким хрустом. Горячая кровь потекла по моему обнажённому телу. Она раскрыла ладонь – там лежал мокрый плотный клубочек переплетённых нитей, тянущихся из дыры в шее. Когда она двинулась назад, не оборачиваясь, шаг за шагом, я почувствовал, как нити вылезают из меня, ползут откуда-то из живота. С них капала кровь, или жёлчь, или что-то ещё, что наполняло тело. Девочка пропала из виду, остались только нити, так и тянущиеся куда-то, нескончаемые. Они тянулись, и тянулись, и тянулись, долго, нудно тянулись, тянулись метр за метром, тянулись, и тянулись, и тянулись, и т-я-н-у-л-и-с-ь, и т-я-н-у-л-и-с-ь, и т-я – н – у — л – и – с – ь, пока меня не разбудил голос. Я увидел недовольное лицо проводницы, покрытое испариной. В поезде было жарко, я сам весь взмок. Станция через двадцать минут, через двадцать минут ваша станция, повторила она в который раз, прежде чем оставить меня в покое. Без пяти шесть.

В утреннем зеркале уборной я с минуту разглядывал скомканное лицо, прежде чем прошуршать по нему бритвой. В этом лице всё мне казалось незавершённым: оно храни-

ло оставшуюся недопечённой юность; черты, будто выведенные малозаметным карандашным графитом, не позволяли скрыть мою недомужественность; взгляд – как у тупого голодного животного, легко выдавал мою недочеловечность. С детства противно было осознавать, что именно так, именно с этим лицом видят меня другие. Но сейчас я уже хорошо понимал, что у подобных лиц есть неоспоримое преимущество – с ними легче казаться неполноценным, безобидным существом, а значит, не привлекать лишнего внимания, оставаться вне подозрений и, наоборот, заручаться чужим доверием. Для большинства морских животных, особенно глубоководных, их окраска и внешний вид – в первую очередь форма маскировки. То же самое касается и людей. Я должен был испытывать благодарность за такое лицо – но всё-таки не мог перестать воспринимать его как обыкновенное унижение. Четыре минуты седьмого.

По пути к своему месту, уворачиваясь от ступней, бесцеремонно выглядывавших в коридор из-за границ верхних коек, я остановился, когда проходил мимо курносого мальчика в серо-зелёной пижаме – он не спал, а сидел у окна и внимательно изучал лицо дрыхнувшей напротив матери. Левой рукой ребёнок опирался на столик, а правую держал возле рта – сначала грыз ноготь большого пальца, потом стал водить по зубам мизинцем и, наконец, залез пальцем в рот и принялся посасывать. Заметив меня, мальчик убрал ото рта руку и улыбнулся, как если бы у него был для меня какой-то секрет.

Я шагнул к нему и наклонился, и он прошептал, что хочет в туалет, но боится ытти один, а мама спит. Хотя нужно было торопиться, я предложил отвести его; крохотная слабая ручка с мокрым от слюней мизинцем легла мне на ладонь, такая мягкая, будто совсем без костей. Мальчик шёл ещё неловко, косолапо, то и дело выворачивал тоненькую шею, оборачиваясь ко мне и как прежде улыбаясь.

За дверью туалета я ждал его две минуты, затем мальчик открыл, чтобы я помог ему вымыть руки. Свою сумку с гигиеническими принадлежностями я поначалу держал под мышкой, потом отложил и в итоге забыл у раковины, так что нам пришлось возвращаться. Почему я так волновался, почему был так неосторожен и невнимателен в тот момент? Это не был страх, ведь дожидавшееся меня прошлое было вовсе не страшным, а, напротив, единственно дорогим и любимым. Если это было волнение, то откуда оно возникло, что его во мне разбудило? Я думал, что у меня не осталось подобных чувств, что смотрю на всё сквозь железную сетку, сквозь загон, в котором пребывает моё живое существо – покорное, послушное. Я знал – оно будет слушаться лишь до той поры, пока никаких лишних чувств нет. А волнение, если это его бутон раскрывался во мне, – как раз такое лишнее, опасное чувство; следовало сжать его в кулаке, раскрыть венчик, отмыть пальцы от масла, избавиться от запаха, от всякого следа, от памяти об этом следе.

«Пасиба, дядинька».

Мягкий курносый человечек сел на место, поджав ноги. Мама его спала как прежде, вновь став объектом наблюдения. Было даже немного обидно, что для него я оказался теперь словно невидимым, как если бы нашего короткого знакомства и вовсе не произошло, в то время как мне совсем не хотелось с ним расставаться. Шестнадцать тринадцать. Нужно торопиться.

Осталась минута до отправления, и проводница, похожая в утреннем сумраке на картофелину, покатила в мою сторону, чтобы придавить своим возмущением. На всём множестве секунд от прикосновения к рюкзаку и плащу до выхода из шейного позвонка поезда меня не оставляла фантазия, что неловкий и незащитный мальчик тот идёт за мной, едва ли не держится за мою ногу, просит не оставлять его, забрать с собой. Но вот поезд затрещал и безжалостно двинулся дальше, унося с собой мягкую бескостную ручку, теперь оторванную и брошенную в вагонной духоте. Четверть седьмого. Старые привокзальные часы отставали на четыре минуты.

На зернистой железобетонной платформе стояли и ждали своего пригородного поезда: взрослые и старики – хмурые, с одной на всех вечной усталостью; дети – наполовину весёлые, а наполовину попросту толком не проснувшиеся. Точно такие же люди стояли на следующей станции, как и на предыдущей. Люди не на своём месте, застрявшие в полумёртвом промежутке между большими городами. Они пе-

реговаривались промеж собой словами, которые наверняка слышали в тысячный раз в тех же самых привычных комбинациях, и вежливо отказывали старушке, предлагавшей дорожное чтение.

«Газетки, берите газетки. С правдами и с враньём...»  
«Сейчас вот принято так, что в восемнадцать-девятнадцать лет нужно, чтоб у подружки было много ухажёров, чтоб конкуренция была, понимаешь? Чего ты хочешь, требовать, чтоб долго жили друг с дружкой?.. А в наше время парней не было, какое там несколько! И как было – ни поцелуя без любви. А уж если понесла, то это срам на всю деревню. А сейчас глянь, как они! А в нашем-то поколении в деревне парней не было. Ну, один там, положим, тракторист. Второй – калека. Но вообще, молодёжь хорошая сейчас. И учится, и работает...»

«Ой, я бы бабе такое дело не стал доверять...»

«Ему уж это, семдесят, и он всё заместитель директора. На таких машинах ездит! Я ему это, говорю: ты бы постеснялся пред народом такие машины ставить! Люди же всё видят, соседи-то...»

«Да тебе-то какое дело. Как говорится, не жили богато, хули начинать...»

«Да они просто боятся нас, ну, боятся нас, понимаешь? У них там уже период полураспада! Потому и рыпаются, ну, потому что знают, что уж теперь-то нас не унижить, мы теперь сами кого хочешь унижим, мы-то любого опустим. Кто

полезет любой – руку оторвём, блядь! Вот они на нас всех собак-то и спустили. Ты слышал про это хоть? А? Ты вообще, что ли, не в курсе? Это же информационная повестка, ну. Вот чудной...»

«Доктора эти – жулики. Лекарства он мне прописал, такие дорогие, а кость всё ломит, спаси господи. Хорошо, я познакомилась с этой девчушкой, добрая девушка такая. Я купила у неё аппарат. Он оказывает музыкальное исцеление! У меня и каталог с собой, посмотри...»

«Почему он мне не звонит? Вот почему он не звонит? Неделями не звонит. Я его вырастила, я его любила, а он даже не позвонит. Почему он не позвонит? Я не понимаю этого. Почему? Почему он никогда не звонит? Я иногда не выдержу и наберу его, а он отнекивается. Говорит, что у него нет времени, а у меня всё время есть как будто. Сам не звонит, никогда не звонит. Когда он маленьким был, он так меня любил, такой нежный был, а теперь не звонит. Почему он мне не звонит? Почему он не хочет позвонить? Я что, его обижала? Я его разве не любила? Почему же он не звонит? Он никогда мне сам не звонит...»

«Вот, так и живём. Ой, а что же ты худая такая?...»

Для середины мая утро здесь выдалось холодноватым, даже без ветра, и я застегнул пепельно-серый плащ, который поначалу не собирался брать с собой, а взял только потому, что почти наверняка уже мне никогда не придётся возвращаться домой. Шесть двадцать пять.

Я медлил, стоял среди прочих человеческих тел на платформе, почти готовый отказаться от всей этой затеи, залезть вместе с остальными в электричку, потом пересесть, ехать дальше, как можно дальше отсюда. Бессмысленная затея, вся эта поездка – одна большая нелепость, неудачная шутка, горькая, алкалоидная, какие я только и умею шутить. Я стоял и посматривал на часы. Полседьмого. Шесть тридцать три. Шесть тридцать шесть.

Приехал поезд и с акульей жадностью принялся одного за другим проглатывать эти тела. В нём было место и для меня, среди усталых лиц, среди вонючего дыхания и пота, среди всех этих перегарных и табачных, старческих и детских запахов. Тела смотрели на меня немного удивлённо – я стоял теперь на платформе один, как ошибка, клякса, портящая бесчеловечное утреннее спокойствие, которое должно было воцариться на какие-то восемь-десять минут, прежде чем появятся новые тела, чтобы ждать нового, более позднего поезда, и говорить, и не слушать сказанное. В тридцать восемь минут поезд утащил взгляды и их обладателей, а я продолжил стоять, и только когда на платформу поднялся обтрёпанный дед, бормотавший какую-то полуматерную рачею несуществующему внуку, отправился мимо него к вокзальчику.

Это было дряхлое, измученное здание, помнившее времена столетней, стопятидесятилетней – такой давности, которую обычно невозможно представить настоящей жизнью,

а только плакодермовым предком жизни. Вот руки, собравшие этот вокзальчик, – ведь они были, как и сейчас, пятипальными, но какой именно была та моторика, каким было рукопожатие, как искривлялись ладонные складки? Их так легко было вообразить в общем, акварельном виде – почти правдоподобно, но всегда не до конца. Крохотные детали, составляющие волокно жизни, ускользали. Вообразить безупречно и наверняка я мог только две пары рук. Одни принадлежали мне самому, они росли и учились жестокости так же, как и остальное тело; сейчас запястье левой было охвачено кольцом неостывающей боли, на костяшках правой оставались заметны почерневшие ссадины. Другие руки я запомнил в совершенстве (до ногтей, до заусенцев), потому что по-настоящему любил их, обожал рассматривать, прикасаться к ним; я умел возвращать из памяти их ласковое тепло, ощущать переплетение наших пальцев, влагу между ладонями, нежное поглаживание. Наступило семь. Через четыре минуты об этом отрапортовал и вокзальчик.

Я почувствовал к нему почти что жалость, очеловечил его этой жалостью. Он был уродец: по бокам двухэтажной головы торчали тщедушные плечи, левое было заметно короче. Верный постовой, вокзальчик служил людям не по своей воле, стоял здесь уставший, голый, с ничем не прикрытыми синяками окон на грязно-розовом эпидермисе, печально улыбался рядами пожелтевших плиточных зубов; на лбу было вытатуировано имя – «Старые Болота»; кое-где плит-

ку содрало, обнажая слои землистого бустилата, позеленевшего цемента или кораллового кирпича. В любой день любого года могло случиться так, что он больше не понадобится – маршрут оптимизируют, станцию закроют, а пользовавшиеся ей люди, пока ещё живущие неподалёку, разъедутся кто куда, состарятся до могил или просто пропадут за ненужностью, перечёркнутые чьей-нибудь благодушной рукой. Две семёрки.

Время шло – а я, положив рюкзак на убогую лавочку, стоял на месте, метрах в десяти от левого плеча вокзальчика, и наблюдал за тем, как он то и дело разевал рот и оттуда выползало очередное тело. Оно ползло к платформе, осматривало железную дорогу и тягучую утреннюю даль, затевало пустой разговор. За вокзальчиком проглядывала почти незаметная, заросшая травой чугунка – ею, судя по всему, давно уже не пользовались. Дальше из-под земли торчало привокзальное кафе, ещё дальше пролегал автомобильная дорога, по бокам которой невпопад были расставлены разноцветные деревянные домики – ив этих домиках, как и в тех, что виднелись за ними, наверняка уже в такую рань всю кишела бесполезная полужизнь. Десять минут восьмого. Тринадцать минут. Четырнадцать (бесконечное число). Четверть.

Время шло. Я стоял на месте, скованный нерешительностью, мешавшей думать – только пытался представить какой-либо ясный итог своего визита, она принималась издеваться надо мной, отвлекать внимание: я хотел смотреть впе-

рѣд, но смотрел в себя, в тусклое зеркало полузвериных глаз, в искажённую их взглядом невнятицу лица. Двадцать минут. Двадцать три. Двадцать пять. Двадцать шесть. Двадцать семь. Всё ещё двадцать семь. Двадцать восемь. Очередной поезд схватил добычу, перекрыв на минуту утреннюю массу полношумной весны. Тридцать семь. Сорок один. Сорок сколько-то.

Время шло – его было хоть отбавляй. Я стоял на месте, сперва наедине с жалким вокзальчиком (уже восемь, предупредил он), а затем и о нём позабыв, бессильно утопая в абиссали тревог и намерений; я мог бы стоять так бесконечно долго, но вдруг слепую тьму моей интроспекции вспорол невозможный луч человеческого существования.

«Дядя, дядя, у вас не будет немного денежки? Мне очень нужно».

Рыжая девочка лет одиннадцати-двенадцати, с неумытым лицом, в наряде рыбы-клоуна – лёгкой белой кофточке и ярко-оранжевых шортиках, – с ободранными коленками, неискренне улыбалась и теребила плащ за полу.

«Мне очень нужно, правда. У меня мама болеет».

Она опять заулыбалась, смотреть на неё было противно, и я тихонько отпихнул её, но она принялась лезть снова.

«Иди домой, девочка, отстань от меня».

Я осмотрелся, но ни в одном из тел на станции не заметил заинтересованных взглядов, хоть какого-то внимания – наверняка для всех эта картина была обычным делом.

«Пожалуйста, дядя, мне очень нужно, у меня мама болеет, мне кушать нечего».

Она даже не пыталась изобразить в голосе волнение или несчастье, говорила как по-отработанному, по привычке, будто ничего от меня в самом деле не ожидала.

«Повторяю тебе, отстань от меня».

Теперь я уже не отворачивался, а смотрел ей прямо в глаза, чувствуя внутри слабую вибрацию – отмеченную первой, ярко-красной нотой, пока ещё только нотой раздражения, не злобы, не жестокости, а лишь раздражения от этой назойливости.

«Ты вообще понимаешь, что я тебе говорю?»

Нисколько не опешив от моего взгляда, от явной моей враждебности, прилипчивая попрошайка заулыбалась ещё шире и наглее и повторила требование, глумливо растягивая слова.

«Дя-а-а-а, а дя-а-а-а! Ну мне же о-очень ну-ужно, по-на-стоя-ащему! У меня же ма-а-ама болеет!»

И снова я споткнулся о собственную слабость – оказался не готов к тому, что эта сцена затянется, – и попытка утратить девочку своим взглядом не только вышла провальной, так ещё и отвлекла меня от новой угрозы.

«Вы мне только немно-ожко дайте, я уйду, обе-ща-аю».

«Ой, она вам, наверное, наскучила, да? Вы дайте ей что-нибудь, она отвяжется. Она, знаете, хорошая девочка на самом деле, я её знаю, у неё тяжёлая жизненная ситуация. А вы

не отсюда, да? Вы в гости, наверное, приехали? Погостить, да? Хотите сувенир?»

В первую секунду я попросту не понял, встало передо мной настоящее тело или механическое: кукольное лицо подошедшей девушки не выражало ничего живого, и даже когда большие глаза с чёрным контуром захлопали, когда приподнялись безупречно подведённые брови, а полные губы приоткрылись, обнажая хищные зубки, – всё это нелепое и неправдоподобное движение вызвало у меня только изумление. Сделав паузу, глянцева́я девушка глубоко вдохнула, расправив стразовые плечи и выставив подчёркнутую одеждой грудь, после чего оценивающе осмотрела меня с ног до головы и уверенно сделала шаг вперёд, оказавшись на расстоянии вытянутой руки.

«Что? Кто вы такие? Вы заодно? Я говорю, что ничего вам не дам».

«Ой, ну что вы, я ничего такого не имела в виду. Я не хочу вас обманывать, просто заметила, стоит привлекательный мужчина, тут таких редко встретишь, понимаете? Девочку эту я на самом деле почти не знаю, просто мне её жалко стало. А вам не жалко разве? Вот и всё, я самостоятельный цветок, я просто подошла, ну а к тому же у меня есть для вас сувенир, совсем недорого, бесплатно почти, вот, сами смотрите».

Она достала из сумочки плотно затянутый яркой подарочной лентой холщовый мешочек со свежим принтом – изви-

вающейся зелёной змейёй и стилизованной под старину надписью, которую было не разобрать. Протянула мне, и сначала я попытался отвести руку, но она настаивала; мешочек оказался тяжёлым и был под завязку набит чем-то твёрдым, хрустящим.

«Это натуральный спрессованный травяной чай со Старых Болот, уникальная авторская рецептура, двадцать лет выдержки. Вы же пьёте чай, любите его, да? И разбираетесь наверняка, я вижу по вам, что вы разбираетесь, понимаете что к чему. Поверьте, вы мне благодарны будете, какой хороший чай, его часто подделать пытаются, продают в городах за гроши под видом нашего чая, а это оригинал, но я вам скидку сделаю. Пойдёмте со мной вон туда, там кафе, можно будет продегустировать».

«За кого вы меня принимаете? Я же через ткань чувствую, это другое что-то. Возьмите и уходите, уходите прочь от меня».

Тогда она развязала мешочек и высыпала часть содержимого – на раскрытую ладонь выпали, как карамельная горсть, разноцветные бутылочные стёклышки и острые зеркальные осколки. Девушка, словно совсем не боясь порезаться, перебирала их, взяла одно, розоватое, и покрутила им, так что стёклышко брызнуло солнечным бликом, потом взяла другое, бурое, и, демонстрируя мне, вновь захлопала глазами, заговорила быстрее прежнего, приблизилась на полшага, заставив меня дышать парфюмом.

«Видите, я вас не обманываю, посмотрите внимательно. У чая чудесный вкус. Это и средство народной медицины, помогает от всех болезней, тонизирует, выводит шлаки, положительно воздействует на мужскую силу. Даже от рака защищает, это уже доказано. Ой, я только заметила, у вас такие глаза красивые! Это что, линзы? Нет, не линзы? Очень красивые глаза, прямо завидую вам, очень бы хотела себе такие глаза. Вы торопитесь, может? Дегустация всего шесть минут займёт, поверьте, вам понравится, и цена честная, я вам со скидкой отдам, пойдёмте».

«Да, дядя, пойдёмте, пойдё-о-омте».

Ребёнок снова потянула за плащ, продолжая канючить, а девушка пересыпала стёклышки обратно в мешочек, поглядывая на меня и улыбаясь, даже посмеиваясь, она не отступала, один раз мягко прикоснулась к моей руке. Всё это время я был как парализованный – но не самим их неумелым вымогательством, а именно невнятиностью его: неужели она, разукрашенная большеротая кукла, торчащая здесь, как актиния с безобидной рыбкой-клоуном в помощниках, всерьёз рассчитывала схватить и сожрать меня, совсем не мелкую и тупую рыбёшку?

«Не испытывайте моё терпение».

«Почему вы такой злой? Я же по-доброму, хотела предложить сувенир, а вы обижаете и меня, и ребёнка. Но, раз уж вы не хотите чай, то подарите мне хоть немного денег – ну, хотя бы за презентацию. Вам разве не понравилась моя пре-

зентация? Ну хоть немного – я в городе учусь, студентка, у меня семья бедная, денег совсем нет, подарите хоть немного, ну что вам жалко, что ли, вы же не зверь какой, неужели нет ни капли жалости».

Но к этому моменту жалость во мне вся высохла, осталась лишь гулкая пустота отвращения, и, когда в разговор неожиданно вклинился новый, строгий голос, я почти решился выступить перед ним с полной негодования речью, предстать безвинной и наивной жертвой настырных вымогательниц. Вот только хозяин голоса оказался не просто случайным привокзальным телом: на нём была полицейская форма, он осматривал всю ситуацию с показной суровостью, но его появление, однако же, не спугнуло ни девушку-актiniю, ни даже её карманного симбиота.

«Так, что тут у нас происходит. Вас беспокоят эти девчата?»

«Здравствуйте... Нет, ничего страшного, всё в полном порядке, мы уже всё решили. Просто возникло недоразумение».

«Недоразумение, значит. Вы, барышни, это подтверждаете? Просто недоразумение?»

Вопрос прозвучал точно так, как будто был спланирован заранее, – по тону я мгновенно уяснил, что наверняка каждый, на кого набрасывались эти паршивые девицы, при появлении человека в форме пытался поскорее убраться вон именно под предлогом «возникшего недоразумения».

Слишком открыто действовали они, слишком вовремя из ниоткуда появился блюститель закона, да и можно ли было предполагать, что в здешних местах впрямь бывают такие тёмные дела, о которых полиция не догадывается? Я почувал настоящую опасность постыдно поздно, лишь когда столкнулся с ней лицом к лицу.

«Мы просто попросили этого человека помочь, а он принял нас грубить, решил здесь скандал устроить, а мы ничего такого не имели в виду».

«Это враньё!...»

«Потише, уважаемый! Что же вы скандалите-то? Поттише надо, когда с представителем власти разговариваете, от шума только хуже будет. Я не понимаю, что же это такое получается. К вам подходит несчастный ребёнок, да? Он просит подать немного денег, он из бедной семьи, да? И вы отказываете! У вас что, каменное сердце? У вас вообще есть сердце-то?»

Сквозь эти слова я услышал голос вокзальчика – девять, объявил тот, ровно девять, то есть в действительности девять ноль четыре, и я машинально чуть не полез проверять свои часы. Приказал себе молчать, не позволять их разговорам отвлечь меня и теперь искал нужную секунду, несколько идеальных секунд, что позволят мне вырваться из объятий их щупалец прежде, чем меня проглотят. Для человека в форме моё молчание, по-видимому, означало готовность принять неизбежное поражение.

«Я сам-то мужик добрый, мне сложно понять, как люди могут быть такими чёрствыми. Грубость я не люблю, но на первый раз прощаю. Я хочу, чтоб вы не реагировали срыву, а поразмыслили сейчас. Вы подумайте сами – если вам не нравится имеющееся предложение, вы же можете узнать, какие есть варианты, разве не так? Посмотрите на девчонок, а? Хорошие девчонки, разве нет? По-моему, очень хорошие».

«Я ему это и пыталась объяснить, что мы хорошие, а совсем не плохие, предложила в „Аспида“ сходить...»

«Тихо! Сейчас я говорю. Эй, уважаемый, вы меня слышите? Девочки хорошие, им просто деньги нужны. Ну они могут и поработать, заработать эти деньги.

Честным трудом. Вы не пожалеете, это я вам могу гарантировать. Девочки старательные. По цене сойдёмся. Ну что, как такое предложение?»

Наконец их матрёшечная схема предстала мне со всей ясностью: заученные фразы, распределение ролей, бессовестно прямолинейный сценарий с предсказуемым финалом для всякого, кто согласится на последнее предложение; если с кем-то эта схема и срабатывала, то не вопреки, а лишь благодаря своей неправдоподобности. Я увидел каждого из них по отдельности: вот грязная девочка в несмешном наряде, её можно заставить делать что угодно; вот жадные толстые губы и приложенная к ним имитация человека, послушная кукла, исполняющая желания; вот пузатая, но вечно голодная гадина, всему на свете знающая цену. Я увидел их всех

вместе: трёхголовое страшилище, не заслуживающее жизни, рыщущее в поисках слабого и готовое отступить в случае, если выяснится, что не на того напало.

Загрохотал проезжающий товарняк – то была кайросова улыбка, та самая секунда, которую я выслеживал. Ударив по детской руке, тянувшей полу плаща, я быстро шагнул назад, схватил лежавший на лавке рюкзак и поспешил прочь, твёрдо, без колебаний.

Шаг, и ещё один шаг, и ещё один – оклик, чья-то рука коснулась плеча – я рванул плечом и пошёл быстрее.

Шаг-шаг, и ещё два, и опять два – вслед закричали, я отказался их слышать, пошёл ещё быстрее, быстрее.

Шаг-шаг-шаг-шаг-шаг-шаг-шаг-шаг.

Я уже почти бежал, не оглядываясь и тяжело дыша, чувствуя даже какое-то удовольствие от своего положения, —  
– шаг

– но в следующий момент меня пригвоздило к месту. Из облезлой привокзальной жрачевни (мерцающая вывеска змеилась обманывающе приличным «*Кафе*»), мимо которой ползла единственная дорога отсюда, заорала ошеломляющая музыка. Машину гармонических конвульсий запустили откуда-то с середины – сладкоголосое существо, тонувшее в шумном море синтезаторных волн, повторяло одну и ту же пошлую припевную строчку о любви и страсти. Подобно удару любви и страсти под дых – вместе с шагом любви и страсти я растерял весь воздух любви и страсти, почти скрючил-

ся, задрожал. Во всём сознании любви и страсти осталась одна-единственная жалящая мысль любви и страсти – сейчас меня догонит человек в форме любви и страсти и примется за дело любви и страсти, сейчас я не тот зверь любви и страсти, что может дать ему отпор любви и страсти, сейчас любви и страсти, любви и страсти. . .

Но никто не набросился на меня, только музыка становилась всё громче, стеклоголосый певец взял фальцет, и пошлые сахарные слова потекли нескончаемой мистической вязью звуков. Завывало юууу, ииии пронзало насквозь, аааа расшатывало небо. Мелодия не развивалась, а пожирала саму себя.

Растягивая патоку времени, ледоголосый рапсод перешёл на головной голос, а музыка, отказываясь прекращаться и деформируясь, становилась всё громче, стремясь перечеркнуть любой чужой звук, всё громче, и Громче, и ГРОМЧЕ, пока наконец даже собственные мысли, собственное волнение я мог расеельшать с трудом.

Откуда-то из-за границы бокового зрения вышла женщина в закрытом тёмно-фиолетовом купальнике и встала против меня.

«Мы готовимся к выетуплению!»

Голос её показался мне бодрым и слегка пьяным, слова сквозь песенный плен различить было сложно. Кожа за границами купальника была морщинистой и дряблой, из-под обтягивающей резиновой шапочки вылезали седые волосы,

но лицо в кислотно-зелёных очках светилося не знающим времени детским счастьем.

«Вы видели, что у неба под кожей?!»

Она кричала так радостно, точно в словах прятался особый совершенный смысл, а наградой за его обнаружение было дистиллированное веселье. Веселье, на которое сам я давно не был способен.

«Рана, глубокая рана! Разве не жалко?!»

Женщина засмеялась – музыка расщепила звук, превратила смех в большую пантомиму.

«Разве не жалко?! Я буду плыть как рыба! Приглашаем вас посмотреть!»

Внезапно она беззвучно охнула и, всё это время стоявшая на одном месте, отдернула ногу, как ужаленная. Наклонившись, женщина подняла с земли зелёное бутылочное стёклышко. На пальцах я увидел кровь. Она только опять засмеялась.

«Рана, глубокая рана! Если её вовремя не залечить, она раскроется в самое неподходящее ВРЕМЯ!»

Это последнее слово она прокричала с какой-то особой ясностью, вспоров им плоть музыки и перерезав связки певцу, и, едва слово слетело с языка, подбросила стёклышко в небо с такой лёгкостью и такой силой, что я, не вовремя моргнув, потерял его из виду. Я смотрел над головой, ища его, затем стал водить взглядом по земле, но стёклышка нигде не было. Может быть, оно всё-таки упало куда-то, просто

я не заметил. Может быть, оно не упало никогда.

Музыка захлебнулась, в ушах осталось её шипение. Я взглянул на часы, но ничего не смог разобрать, цифры выворачивало. Перевёл взгляд на кафе: из двух окон смотрели, прислонившись к стеклу, какие-то свиноносые пьяницы, третье было покрыто мелкой листвой трещин и по чьей-то вдохновенной инженерной мысли заклеено крест-накрест скотчем цвета варёной сгущёнки.

Дверь заведения открылась от удара, и оттуда выскочил сутулый и взъерошенный ещё почти молодой мужчина в заляпанной майке-алкоголичке, которая, прилегая к животу, очерчивала какие-то странные бугорки, как будто под ней был не просто человеческий торс. Поначалу мужчина недоумённо осматривался, словно не ожидал оказаться в этом месте, но затем сумел сфокусировать взгляд на женщине в купальнике.

«Дочь! Дочь, ыди сюда! Немедленно!»

Он не двинулся дальше, так и стоял у дверного проёма. Поправил штаны. Шмыгнул, потёр указательным пальцем нос, шмыгнул опять.

«Иду-иду, папочка!»

Женщина крикнула всё так же весело и через улыбку, но даже не повернулась, не взглянула на этого человека – стояла передо мной, слегка согнув ноги в коленях, так что можно было подумать, что это не она вышла ко мне, а я своим появлением прервал её утреннюю уличную аэробiku. Шер-

шавое отродье шума, остававшееся у меня в ушах после той прежней какофонии, пошебуршало ещё немного и пропало. Настала тягомотина тихих секунд.

(Белолобая трясогузка деловито протопала совсем рядом со мной, остановилась и осмотрелась, методично постукивая по земле длинным хвостом аки тросточкой, и отправилась по своим делам.)

«Дочь! Я кому сказал!»

Мужчина снова поправил штаны. Из-за его спины выступила босая смуглокожая девочка – того же возраста, что и пристававшая ко мне попрошайка. На девочке тоже был тёмно-фиолетовый купальник, но шапочку и очков она не носила; волосы украшали радужные бантики-розочки. Она встала справа от мужчины (я не мог определить наверняка, имелось ли в них нечто родственное), упёрла руки в бока, но молчала.

(Ветер начал любовно перебирать кроны стоящих тут и там деревьев, и те засеребрились листвой. Прогомонили две машины, поднялся собачий лай, худая шавка выбежала на дорогу и понеслась за ними, потом отстала и вернулась к одному из домов.)

«Да-да, папочка, мой хороший! Да-да, уже иду!»

Рана на ноге, казалось, не беспокоила её. Она плавно подняла руки и соединила над головой, медленно выпрямилась, выгнула спину, поднялась на носках. Девочка сверлила её взглядом, рот был недовольно искривлён, нижняя челюсть выдвинута вперёд. Женщина слегка покачивалась в такт неслышной мелодии, улыбаясь. Мужчина зажмурился и провёл рукой по лицу, точно пытаясь унять головную боль.

(Далеко, за чередой домов и огородов, чернела лесная лента, над ней плыл в чужие рубежи птичий клин. На дороге появилась горбатая машина серо-голубого окраса, остановилась на обочине, метрах в двадцати от места, где я стоял, – водитель заглушил двигатель, но выходить не стал. В кафе прилипший к окну пьяница стал стучать по стеклу, но другой торопливо его угомонил.)

«Дочь, твою мать, это моё последнее слово!»

Он брызгал слюной, сжатые руки взбивали дрожью воздух, но, взглянув на неподвижную девочку, в ту же секунду сам вернулся в протрацию. Всё происходило даже слишком последовательно, как репетиция. И хотя меня никто не преследовал и дела этих людей меня нисколько не заботили, а слова их звучали сплошной нелепицей, я не уходил, оставался на месте, то ли как долгожданный зритель всей этой сцены, то ли как дублёр-новичок, ещё не выучивший своей роли. Наступила новая пауза, снова дольше предыдущей.

(Птичий выводок пролетел над головой, плавно и молчаливо. Застрекотали велосипеды, из-за поворота возникла стая подростков, быстро пересекла заросшую чугунку, повернула налево по какой-то невидной тропе. Хлопнула дверь автомобиля, водитель вышел, сделал несколько осторожных шагов, но остановился. Из кафе раздался полувоплъ-полусмех – ничьих лиц больше не было видно.)

«Папочка, ну что же ты такой нетерпеливый! Я уже иду! Да-да, вот я уже иду!»

Женщина в купальнике, продолжая улыбаться, повернулась к подъехавшей машине, медленно развела руки и затем звонко ударила в ладоши. Паузы схлопнулись. «Папочка» рванул с места, оказался рядом с ней, схватил за руку. Женщина не отбивалась, пошла за ним в сторону кафе, не снимая улыбки. Когда они приблизились к девочке, та, сложив руки крест-накрест, впервые заговорила, с явной обидой в голосе.

«Я выбираю иную песню!»

Её слова, произнесённые с нажимом, словно ими возможно было прижать невидимую рану, заставили взрослых остановиться.

«Я выбираю! Иную песню!»

Женщина повернулась к ней и —

«Я! Выби-»

– вспыхнула беспощадная пощёчина. Затем женщина направилась в кафе. Сразу за ней, не утруждая шею лишними поворотами, вошёл мужчина. Девочка, держась за обожжённую щёку, посмотрела на меня. В глазах загорелись слёзы.

«Я! Выбираю! Иную! Песню!»

Подарив мне всю горечь этих слов, она тоже скрылась, и с тяжким грохотом закрылась дверь. Я взглянул на часы. Цифры возвратились в прежнее состояние. Девять девятнадцать, всего лишь девять девятнадцать. Сейчас я был почти что спокоен, дыхание восстановилось, всё вокруг казалось обыденным и случайным. Из кафе не доносилось ни звука. Я посмотрел в сторону той лавочки, у которой попал в ловушку вокзальных мошенников. Ни человека в форме, ни девушки-актинии не было, только рыжая девчонка-попрошайка – зачем-то полезла на пути, разглядывала то ли рельсы, то ли гравий, то ли какую-то мелочь, может быть жука, или монету, или пивную пробку. Ну и пусть, подумал я, какое мне дело до всего этого, до всех этих людских тел, которые жизнь отхаркнула в это место, дабы они копошились здесь до исчезновения. Меня должно было беспокоить только одно живое существо, единственное драгоценное существо, которое я так желал вернуть себе хоть ненадолго. Нет, я не мог уехать отсюда, не повстречавшись с ней, возможно, в последний раз.

«У всех людей свои беды. Их невозможно объяснить. И вмешиваться в них не стоит».

Вышедший из машины водитель стоял теперь рядом. По меньшей мере вдвое старше меня, лицом он походил на деревянного идола: с прямыми морщинами, вырезанными на твёрдой коже; глубоко посаженными тёмными глазами; плоским, будто вдавленным носом. На голове – кожаная восьмиклинка, одежда была чистой и немного нездешней. Говорил он, едва открывая рот, как бы нехотя.

«Подбросить вас?»

«Иной раз люди сами поджидают тебя, чтобы наброситься со своей бедой...»

И если бы можно было не вмешиваться, продолжил я беззвучно, если бы только люди оставили друг друга в покое, не причиняя никакого вреда. Но вместо того, чтобы плыть свободно, они привязывают себя один к другому. Они рождаются на привязи-пуповине, их сажают на родительскую цепь, тогда их мягкие податливые тела начинают менять форму, из них тянутся не видные глазу щупальца —

«Это верно. Таких людей следует избегать».

– поначалу тонкие и гладкие, как черви, щупальца начинают распухать, в них раскрываются язвочки, из которых прорастают новые щупальца, они тянутся от одних тел к другим, они гладят эти тела, обнимают эти тела, сжимают их, душат их, прилипают к ним, врастают в них. Их не оторвать, больше уже не оторвать. Вереница привязанных друг к другу тел, как гирлянда из потрохов, обвивает собой весь свет. Она повисла на древе мира и гниёт на нём, и смрадит, и жестокое

жужжание жадных мух – единственная мелодия её. Эту мелодию я услышал, когда —

«Вы занимаетесь извозом? Тут вряд ли можно поймать достаточно пассажиров».

«Приходится вертеться».

– да, тогда я впервые и услышал её по-настоящему отчётливо, не в качестве редкого отзвука чужого страдания и не в качестве шёпота непрощающей правды в глоссолалии человеческой лжи. Здесь и там я слышал теперь эту мелодию – как напоминание и как предупреждение. Напоминание о том, что я совершил. Предупреждение о том, что всё может повториться.

«Так что? Вы поедете?»

Я постарался унять себя – сейчас не время было отвлекаться на лишние мысли. Предложение было как нельзя кстати, да и водитель, хоть я и перебросился с ним всего несколькими фразами, не вызвал у меня никаких подозрений. Ни одним жестом, ни одним произнесённым словом он не напоминал ту мразь, на которую я сегодня наткнулся. В его взгляде я не заметил ни лицемерия, ни жажды наживы – зато увидел чистое и светлое любопытство, какой-то неземной интерес, подобный тому, с каким я прежде наблюдал за жизнью моллюсков, квидарий и демерсальных рыб. Нет, он точно не желал мне ничего дурного.

Мы договорились о цене – мне пришлось настаивать, чтобы этот человек взял больше, чем сам просил, – и я пошёл

к его машине. Последний раз взглянул на вокзальчик – со спины он казался ещё более жалким и изнурённым. Он был болен. Он издыхал. В нём водились паразиты. От паразитов невозможно избавиться. Девять двадцать четыре.

Мне показалось, водитель немного удивился, когда я сел на заднее сиденье, точно ожидал от меня другого. С первого раза дверь не закрылась, понадобилось хлопнуть посильнее (боль в запястье отозвалась с новой силой). В отделанном древесиной салоне пахло мускусом. Водитель долго рассматривал ремень безопасности, прежде чем застегнуть. Задумчиво позвенел перед собой связкой ключей, выбрал нужный и завёл машину, приговаривая: тише-тише, тише. Из нагрудного кармана он достал мятую серую самокрутку, взял в зубы, но, посмотрев на меня, вынул и положил обратно, не сказав ни слова. Наконец рука легла на прозрачный рычаг с пылающей жёлто-алой розой в набалдашнике, рывком сместила его, и мы поехали. Девять двадцать восемь.

«Меня-то Гвидон зовут. А как вас величать?»

(Я ничего не ответил, сделал вид, что вовсе не слышу его и больше не заинтересован в разговоре.) Дворовая псина выскочила на дорогу прямо перед нами, сиганула вбок – водитель немного сбавил скорость. Собака заголосила, в заднем стекле я увидел, что она стоит посреди дороги, широко расставив лапы, и надрывается, даже не глядя на машину.

«Глупое отродье, не понимает ничего. Собыют ведь когда-нибудь, рано или поздно».

(На весенней дороге, растаявшей вместе со снегом, машину бросало в дрожь.) Мы ехали мимо россыпи частных домов, расстеленных на земле, как бугристое лоскутное одеяло. Хозяева предпочитали окрашивать стены в какой-нибудь яркий цвет, и обязательно не такой, как у соседа. Но то и дело между цветными переливами в этой коробке карандашей попадались старые, серые, гнилые домики-огрызки: одни сгоревшие, другие покинутые, третьи смертельно состарившиеся, но содержавшие в себе, должно быть, какое-то трухлявое тельце, всеми позабытое, но ещё ворчащее и брыкающееся каждый раз, когда смерть пытается его приобнять, принежить и поцеловать insultным или инфарктным поцелуем.

«А я как вижу название станции, Старые Болота, сразу смех разбирает. Я их и спрашиваю, а новое-то болото как? Где-то поблизости? Будет-будет, отвечают, озеро ещё не заросло».

(Музыки в машине не было, радио нашёптывало едва слышные помехи.) Слева, накренившись, плакала большеголовая водонапорная башня, за ней начинался посёлок с домами попримичнее, каждый на несколько семей. На просторы общих огородов уже высыпали тучные мамыши-домохозяйки и, с трудом сгибаясь, занялись посадками. Справа среди худого поля напоминали об ином времени развалины агропромышленных зданий, ржавые ограды и скелеты сельскохозяйственных машин. Прежде перемоловшая тысячи жиз-

ней, сейчас производственная могила опустела, даже призрака не бродил здесь больше.

«Конечно, тут немного радости. Не жизнь, а сплошной лёд, твёрдая корка льда. Может, и правду говорят, нужна большая беда, чтобы этот лёд разбить. Вы слышали ведь? Тут все твердят, что пора готовиться к войне. Каждый день слышу, как твердят, в ушах звенит. Никто и не помнит уже, что такое война на самом деле, но всякий о ней твердит».

(Взгляд укололо странное чёрное пятно вдалеке, до этого незаметное на фоне леса.) На дорогу вышли коровы, возвращавшиеся с поля, и автомобиль пришлось остановить. Худые животные с засохшей грязью по бокам и желваками по всему телу лениво плелись, покачивая тяжёлыми головами и размахивая хвостами в безуспешных попытках отогнать мушиный сонм. Мычание их было тягучим, усталым, будто они жаловались друг другу и уже утомились от собственных жалоб. Их вели почти карикатурные деревенские парни: поджарые, с выжженными волосами, без лишней мысли на запачканных рябых лицах. Двое держали длинные прутья, но коров ими не били; третий, по лицу совсем ещё подросток, бегал с обочины на обочину, и, если какая скотина останавливалась или пыталась свернуть с пути, осторожно тыкал ей в грязный бок короткой палкой. Глядя на эту деревенщину, я не почувствовал ни превосходства, ни презрения: скорее неловкость за наше формальное сходство, за то, что они были, как и я, людьми, мужчинами, чьими-то сыновьями. Де-

вать тридцать два.

«Смотреть жалко. Видите, овод живёт под кожей. Полезет наружу через свищи. Прежде овод приходил позже и не был такой жестокий. Скотины было много. Теперь торопится, рыщет. Год назад в собаку залез, глаза сожрал. А сейчас... Я этому мальчику, который с палкой, я ему несколько раз говорил, ты шейку-то врачу покажи, а он только смеётся и грязью кроет. Скоро не до шуток будет».

(Изммуученное ммыычание, утооммительное ммыычание, ммыы не ууммеем ммоолчать, ммыы только во сне и сммерти ммоолчим.) Замолчав, водитель дождался, когда последняя корова обойдёт автомобиль, и мы поехали дальше. Чёрное пятно затвердело и оформилось в огромный идеально ровный куб. Он впивался в голую мёртвую землю и издали сиял непостижимым завораживающим светом. Казалось, что свет просачивается сквозь грани здания, что поверхность вибрирует и едва может сдерживать сияющие приливы. Я не понимал, как можно отвести взгляд от этого неземного, глубокого, подводного свечения. И хотя я с лёгкостью молчал всю поездку, теперь губы сами сворачивались и раскрывались, озвучивая помимо всякой моей воли один и тот же вопрос.

«Это? Это чёрное место. Вы разве хотите знать? Здесь бойня, здесь режут скотину. Разве вы хотите это знать? Сперва все спрашивали, зачем она выросла здесь, смотреть боялись, думали, что ослепнут. Но стены почернели от крови.

Теперь привыкли, каждый день плетут караваном – им платят за кость, за кровь, за перерезанное горло. Нигде больше так не платят. Бойня хорошо кормит. Но только мясо отсюда увозят в город, а люди здесь, которые не воруют, покупают это мясо втридорога, когда его уже из города привозят обратно. Такая вот петля».

(Я смотрел на это здание, когда мы ехали мимо, и продолжил смотреть, когда проехали, и, только когда оно скрылось за деревьями, осознал, как всё внутри напряжено, как болит нахмуренный лоб и как глаза устали от этой предельной черноты.) Слева и справа встал смешанный лес, уступив дороге только тонкую обочину и кюветы. Листву прокалывали солнечные иглы, и на скорости, если расфокусировать взгляд, деревья сливались в единую высоченную волну, ярко-зелёную с золотистой пеной. Волна угрожающе поднималась, но не обрушивалась, а отходила немного назад, уступая место смеющемуся разноцветью, и опускалась, набиралась изумрудных сил, чтобы подняться выше прежней высоты, и тогда только редкое мерцание крошечных бело-синих прогаллин позволяло удостовериться, что за этой зелёной страной есть иной край, где свет дарит электричество, где в палитре пейзажа невозможно обойтись без бетона, стали, ржавчины и стекла.

«Тут раньше жили немые, двое или трое. Теперь уж их нет, теперь вообще мало кто остался. Конечно, то же будет со всем человеческим».

(Лес, бескрайний океан леса, плескался о мокрую землю, поднимался над ней и накрывал её своей неутомимой волной.) На обочине показалась фигура. Девочка-подросток в лёгкой винного цвета курточке и с рюкзаком на плече шла быстро, то и дело ступая одной ногой на асфальт. Заметив её, водитель снизил скорость и остановился чуть впереди. Он никак не пояснил своё решение, не уточнил, буду ли я против, хотя до этого всю поездку разглагольствовал и вроде бы принимал меня за своего собеседника. Я стал сомневаться: не ошибся ли, когда доверился ему?

«Опять прогуливаешь? Заползай».

(Лес, осторожно крадущийся лес, приблизился почти вплотную к побережью дорожной насыпи, но отступил.) Она села на переднее сиденье. Ей было примерно столько же, сколько девочке-попрошайке и той другой, из кафе. Вполне могло быть, что все они ходили в общую школу, в один класс даже. Спустя пару минут это уже казалось мне каким-то несомненным фактом, и я пытался определить, действительно ли такое совпадение случайно. Я разглядывал её в зеркале: покрасневшие от недавних слёз глаза; сложенный в ровную полоску большой рот; печальное лицо, каждый элемент которого не сочетался с другим, но в таком коллаже черт была своя особая красота. Поначалу она едва ли меня заметила и в этой явно знакомой машине чувствовала себя спокойно, но когда взглянула в зеркало, почти что подпрыгнула на месте от удивления или испуга. Она повернулась ко

мне, но только на несколько секунд.

«Этому человеку в кущи, мы его сначала выплюнем, а потом я развернусь и тебя до дома доведу».

(Лес, хищный голодный лес, внимательно следил за нами, неслышно готовился к прыжку.) Я восстанавливал в уме, как водитель появился рядом со мной после той изнурительной и абсурдной сцены возле кафе, как мы заговорили, как он предложил подвезти меня, как готов был сделать это почти бесплатно. Его любопытный взгляд. Пустая дорожная речь. Нет, всё-таки до того, как мы наткнулись на эту девочку, его поведение выглядело безобидным. И потом, не могло разве стать, что он самый обыкновенный человек и привык вести себя со всеми дружелюбно и просто, наивно предлагать помощь любому, не держать за спиной никакого ножа? Девочку он знал – ну и что с того? Может, между ними и была какая-то тайна, но почему это должно было хоть как-то мне грозить? Почему бы и впрямь не подбросить и её, когда есть свободное сиденье, – так он мог решить, убеждал я себя. И в то же время в мозгу раскручивалась другая история, где водитель сворачивает куда-то без видимой причины, и мы оказываемся в затаённой лесной тюрьме, а там уже поджидают его сообщники, уродливые получеловеки, острозубые мурены, готовые наброситься на меня, и одному мне с ними не справиться; и вот уже я падаю на землю, а они обступают меня, а девочка смеётся над моим жалким положением таким знакомым обидным смехом... Я приказал себе: хва-

тит, хватит этих глупых историй, в которых смех и ребёнок страшнее любого зверя. Без двадцати десять.

«Нет, до дома не надо. Я скажу потом куда».

(Лес, жестокий хитроумный лес, оказался рядом, наклонился и зашептал, призывая пойти к нему.) Девочка протянула руку к радио, тщетно пытаясь поймать на волнах что-то помимо помех, и тут я заметил, что вместо мизинца у неё лишь короткий отросток. При взгляде на её крохотное увечье мои подозрения окончательно отступили; всё, о чём я только что думал, стало теперь неважным. Мне отчаянно захотелось услышать её историю, прошептать нежное слово утешения, внимательно рассмотреть заросшую теперь рану, дотронуться до её бледной ручки, которую одна отсутствующая деталь превратила в нечто сокровенное, чудесное даже. Она заметила мой взгляд. Разумеется, она уже привыкла к такому; для соседей и других детей она наверняка и была всего лишь той самой девочкой-без-мизинчика и никем более; она наслушалась про себя достаточно гадостей, чтобы не обижаться на паскудный взгляд взрослого незнакомца, который очень скоро исчезнет из её жизни навсегда. Но всё-таки я продемонстрировал надлежащий стыд и повернулся к окну. Солнце утонуло в облаках, дорога и деревья потемнели.

«Что, всё пьёт папка-то? Это ничего. Это больно, я знаю, но всё-таки не навсегда. Ты совсем ещё ручеёк. Закончишь школу, так и сбежишь в большой город, будешь там свободна. Увидишь, там всё не то, что здесь. Там иные люди, они

по-другому дышат, по-другому совсем живут. Гробы выстав-  
ляют стеклянные всем на показу. Убивают время, оно им не  
нужно больше. Там в воздухе деньги, ими городских прямо  
рвёт».

(Лес, чадный лес, зазывал к себе нежно, маняще, обе-  
щая успокоение и упоительные сновидения.) Меня начало  
клонить в сон, глаза слипались, и я не сразу заметил, что  
впереди возник тягач яростно-ясного аквамаринового цве-  
та. Он стремительно приближался, он вдруг оказался рядом,  
вспыхнули фары, и показалось, что вся эта громада качну-  
лась влево, выехала на встречную и сейчас раздавит наш ав-  
томобиль. Гудок взвыл, точно разъяренный бык. Девочка из-  
дала испуганный писк. Грузовик оглушительно прогремел;  
водитель, замолчав секунд на десять, невозмутимо продол-  
жил свой монолог, пока я пытался унять чуть не выпрыгнув-  
шее из груди сердце.

«Конечно, я боюсь порой за вас, за городских. Мы тут ещё  
не проснулись, а там уже голоса, требуют себе голос. А спя-  
щий-то что! Если его разбудить, он встанет и придушит того,  
кто вопит почём зря. И спящего нельзя винить, в чём же он,  
по-вашему, виноват! Но, может, обойдётся всё. Ты станешь  
студенткой, будешь бунтовать, любить. Найдёшь, кто согрет  
тебя, к кому прильнёшь. Ты, даже когда обидно и больно,  
помни, не забывай: здесь не то, что в городах, тебя другая  
жизнь подстерегает».

(Лес, царственный лес, уже не звал, а приказывал остано-

виться пред ним, остановиться внутри него, остаться в его нутре.) Я тяжело дышал, воздух был каким-то вязким, липким. Пальцы вспотели. Водитель резко дал вправо, меня бросило к двери. Я выставил руку, ладонь ударила по стеклу, скользнула, издав неприятный скрип. Он пробормотал что-то вроде извинения. С этим поворотом машина словно пересекла границу иного мира: дорога внезапно стала гладкой, совсем новой, со свежей разметкой и оградой с обеих сторон; солнце выплыло на поверхность. Девочка повернулась ко мне. Она как будто вспомнила что-то страшное и сначала не могла решить, заговорить или промолчать.

«Мы спрятаны. Спрятаны в шкатулке. Нас всех упрятали в шкатулку».

(Лес, смотрящий сквозь время лес, стал редеть, отступать, оскалился недоброй улыбкой, зная всё наперёд.) Я скоро понял, что мы оказались в месте, где всем владеют люди иного сорта. Единственными домами здесь были коттеджи-великаны, закрытые поднебесными заборами так, что рассмотреть удавалось разве что волны перламутровой черепицы на крышах да мансардные ларцы. Каждый дом – как отдельный остров в спрятанном от лишних глаз архипелаге. У ворот одного ожидал кого-то шикарный белоснежный автомобиль с тонированными стёклами. У другого стоял охранник, он обменялся парой жестов с нашим водителем, передал что-то по рации и показал: можно ехать дальше. Всё это время девочка продолжала смотреть на меня или же сквозь меня, не

моргая, но в одну секунду изменилась в лице, вернулась в настоящее время.

«Я не знаю, зачем я это сейчас сказала».

(Лес, терпеливый лес, отвернулся, притаился за домами и принялся ждать, ждать нужного часа.) Девочка отвернулась. Водитель показал на крышу оливковозелёного дома, который я ему назвал перед поездкой. Наверно, мне стоило радоваться, что все эти сегодняшние неудобства были не зря и я добрался до места, но я не чувствовал ни радости, ни хотя бы удовлетворения. Мне даже представлялось, что дорога вышла слишком короткой, что стоило растянуть её хотя бы на несколько десятков километров, и, может, я услышал бы от водителя или девочки нечто по-настоящему важное вместо тех пустых слов, что они наговорили. Но времени больше не было. Четыре минуты до десяти.

«Вот оно, ваше место? Да, давненько нас здесь не бывало. Одно время тут было совсем всё по-другому, но это всегда так, разве нет? Всегда есть такое время. Ну, вы это знаете не хуже моего. А очень скоро и больше будете знать, я слышал. А я что, я когда-нибудь вернусь откуда прибыл, моё место займёт другой. А когда это будет, разве можно угадать. Да и потом, лучше говорить *положение*. Место может и пропасть, а вот изменить своё положение, когда уже сделан выбор, — это непросто, иногда даже приходится раздваиваться. Знаю я одну историю на этот счёт, но сейчас уже невозможно вести рассказ, так ведь? Значит, как-нибудь в другой раз».

Когда горбатая машинка поторопилась прочь из чужого рая, я подошёл к воротам и позвонил. Во дворе послышался лай, его почти перекрывало гремящее сердце. Десять ровно. Это она идёт? Десять ровно. Сейчас я увижу её? Десять ровно. Неужели это не сон? Минута.

«Ты приехал?»

И я увидел её. Единственное любимое мной существо, моя драгоценная родная сестра, моя Ариадна.

Мы не виделись тысячу и один день. Последний раз – по поводу смерти матери. Тогда я был счастлив видеть её, а она убедила себя, что в такой момент нужно только страдать и носить скорбные маски. Если бы мать всё-таки умерла в нашем детстве, для нас обоих это был бы ни с чем не сравнимый праздник, первый настоящий праздник. Но сестра твердила лишь о прощении, о том, что не нужно помнить или говорить о мертвецах плохое, а я не желал прощать, вообще не желал принимать эту освободительную смерть во внимание. Моя радость была ей противна, мы разругались при нотариусе, а когда я провожал её, то довёл до слёз своей злой ухмылкой – она оттолкнула меня и побежала прочь, с трудом удерживаясь на дурацких каблуках, на которых раньше и ходить не умела, а тут почему-то не смогла подобрать к своему строгому траурному наряду ничего поудобнее.

Теперь она предстала передо мной в лёгком летнем платье одуванчикового цвета, с расстёгнутой верхней пуговицей. Первым, что я нашёл своими истосковавшимися глаза-

ми, были пленительные плечи. Затем – нежная линия ключицы на бледной коже. Взгляд не мог выбраться из яремной впадины, не желал выбираться.

«Я надеялась, ты приедешь посередине недели. Не знаю, что с тобой делать завтра».

Услышав эти слова и раздражение в голосе, я всмотрелся в её лицо, и первое блаженное чувство треснуло, раскололось, рассыпалось. Что-то в ней было поломано. Я не смог понять этого сразу и, ничего не отвечая, продолжил рассматривать так, словно она экспонат из коллекции диких винок.

«Ты ведь не забыл ещё, как люди разговаривают?»

Её заколотые сзади тёмные волосы. Её открытый белый лоб. Её глаза, огромные зелёные глаза под идеальными дугами бровей (в детстве дразнили пучеглазой, но она себя в обиду не давала). Справа линия-складочка от носа до губ (если она улыбалась, то только кривой улыбкой) – тоже её. Сами губы... Вот оно что. Сами губы были чужими.

«Ты сделала пластику?...»

От этого стало неприятно, противно, словно она поступила вопреки моей воле, назло мне. Зачем? Зачем она это сделала? Она же изуродовала себя. Вместо прежних губ – таких красивых, таких изящных – у неё ко рту прилипли две уродливые мясистые личинки. Теперь, когда я это заметил, они будто продолжили расти, гадкие, жирные, гротескные. Кому это понадобилось?

«Что? А, ты заметил? Ну да, подправила немного, ещё в

прошлом году. Это что, отцовский плащ?»

«Нет. Нет, просто похож».

«Он тебе великоват».

Я ступил на её остров. Здесь было светло, будто над домом установили собственное солнце, и всё цвело: ровные ряды жёлтых тюльпанов и сиреневых гиацинтов, вспышки леденцовых анемонов в круглых клумбах, белые россыпи на колючей проволоке терновника и молодой вишне. Карминовая садовая дорожка, похожая на засохшую потрескавшуюся кожу, вела к неестественно чистому пруду, над голубым дном которого парили в воде яркие огоньки бело-красных и оранжевых карпов. На другой стороне у пруда стояла увитая плющом беседка, вокруг неё безумствовал шиповник. Надо всей этой пестротой возвышался чешуйчатый трёхэтажный особняк с тёмными треугольными фронтонами и нависающей крышей, отбрасывая тяжёлую тень на ещё одну постройку поменьше, где была баня. Мы шли медленно, и сестра всё время молчала, выглядела подавленной, чужой в своём же дивном саду.

«Ты совсем не рада меня видеть?»

«Прости. Нет, конечно же, конечно же рада. Я соскучилась. Хорошо, что ты смог приехать».

От этих неубедительных слов стало только хуже. Я снова засомневался, правильно ли поступил, прибыв сюда, но попытаться о её чувствах не стал. Не осмотрев и трети острова, мы проникли в пучину дома, и сестра заговорила сама:

показывала комнаты и объясняла, в чём их толк. Казалось, ей нравилось служить проводником, то и дело она пускалась в ненужные подробности и рассуждения. Вот первый этаж, зал для гостей, муж любит всякий праздник отмечать на широкую ногу, так что зал бывает даже маловат, возможно, эти домашние пальмы стоит убрать, но без них уже как-то пусто-вато. Вот гостевая ванная, здесь ты можешь взять полотенце, наверняка в этом поезде была сплошная грязь, и зачем ты не согласился, чтобы мы наняли тебе водителя, он бы тебя привёз в комфорте и в более лучшее время.

«Более лучшее?»

«Ой, ну ты же меня понял. Видишь, сама отвыкла говорить правильно. Обычно от меня требуется только твердить что нужно, и всё».

Она рассмеялась этим словам, мерзкие губы-личинки задрожали. Я решил вычеркнуть их, не видеть этих губ. С детства я научился так смотреть на вещи – вычёркивать ненужное, не замечать мучительное, смотреть мимо страшного. Однако этот мой талант касался только настоящего времени – запоминать вещи по-своему я не умел, и в памяти, как бы я ни старался, они возвращались ко мне именно такими, какими были на самом деле, во всей полноте своего ужаса. Поэтому я предпочитал практически не пользоваться машиной памяти, чтобы избежать лишнего беспокойства и не оступиться в случае угрозы. Только здесь, в опасной близости от сестры и утопленного в ней прошлого, память начала

работать без моего желания, вызывая на мгновение так и не забытые образы и сцены. Когда мы вошли на кухню, я на миг увидел на полу опрокинутую пепельницу, учуял невыводимый сивушный запах, услышал хриплый кашель отца. Но всё это тут же исчезло. Вокруг было чисто, пахло лишь детергентами, а звуки издавали только монотонно гудящие бытовые приборы: я объявился, как раз когда кухонный оркестр под управлением сестры готовился к выступлению, получал от неё первые указания.

«Вот, это моё царство. Готовлю я теперь много и очень здорово, ты увидишь. Правда, сегодня на ужин рыба, ну я что-нибудь тебе придумаю простенькое, но вкусное...»

Богато обставленные комнаты были полны сувениров: коллекция ножей, дорогой алкоголь, расписная посуда, экзотические статуэтки и украшения, художественные фотографии полуобнажённых женщин в металлических рамках, чучела птиц и лесных грызунов. Я заметил множество ритуальных предметов разных культур – как будто хозяева дома верили в пять-шесть богов разом, на всякий случай. Каждая мелочь в этом доме убеждала, что живущая здесь женщина – совсем не та, кто была рядом со мной с самого моего рождения и провела меня сквозь годы домашнего ада. Захотелось свернуть времени шею, но та не поддавалась. Половина одиннадцатого.

«Это те же часы, что я подарила? Ты ещё носишь их? Поймай, что с твоей рукой? Ты дрался?»

«А, это. Шёл неаккуратно, споткнулся. Всё в порядке уже».

«Разве это в порядке? Страшные какие ссадины. Разве можно так упасть?»

Она отступила и уставилась на меня, точно только сейчас научилась различать, что творится возле неё. А я стоял с выставленной вперёд правой рукой, которую она, разглядывая, одарила заботливыми прикосновениями. Я мечтал удерживать эти прикосновения при себе, но с каждой секундой кожа помнила всё меньше. Когда она прикоснулась снова, на этот раз к лицу, у меня перехватило дыхание.

«Ты рано седеешь. Как отец. И на правом виске больше седины, чем на левом. Ты замечал?»

Она повела меня по лестнице с ковром, показала кабинет, сплошь уставленный фотографиями мужа, в основном в компании других плотных мужчин в строгих костюмах; стояло там и несколько снимков долговязого юноши в матроске, которым он был когда-то. Настал черёд их спальни. От одного вида массивной кровати стало больно: в этом ложе, под бархатным покрывалом его, в резных узорах и отливах глянцевого лака на чёрном дереве скрывалось то гадкое и фатальное, о чём я не желал думать, нет, не желал, не желал думать и не мог не думать. Я первым вышел из этой спальни, хотя из сестры продолжала выползать ненужная экскурсионная речь – что-то об эксклюзивности нового постельного белья и о том, что в планах у мужа выкупить соседний участок

и возвести там отдельный гостевой дом, как только судья и прокурорша, живущие по соседству, получат долгожданное повышение и переедут ближе к столице.

«Они, конечно, любители старины, живут в своём средневековом замке, так что всё придётся переделывать. Мы любим современность, но с нотками классики. На этом месте тоже сто лет стоял старый дом, муж приказал его снести и построить новый...»

Я уже чувствовал усталость от её бесполезных слов, от несвойственной ей прежде манеры говорить, от выученного тона. Через неё говорил чужой мне человек, отвратительная пародия на мою сестру, в то время как она сама то ли спряталась, то ли потерялась в тине новой бессмысленной жизни. При нашей последней встрече этой перемены ещё не произошло: хотя у неё уже тогда были и муж, и сын, и она стала по-другому одеваться и постоянно волновалась, что думают про неё другие и какой её видят, всё-таки я узнавал в её голосе, взгляде и движениях свою любимую сестру. Теперь – мне противно было это признавать! – я больше узнавал в ней нашу мать: голос стал визгливым и нервным; во взоре то вспыхивало раздражённое беспокойство, то пропадала всякая осознанность; движения приобрели демонстративную резкость, подошедшую бы скорее актёрам из старых немых фильмов.

*Как видите, наш герой ещё не понимает, что суще-*

*ствует эффективный способ примириться с памятью. Какой? Чтобы узнать, продолжайте чтение.*

«А, вот ты где. Да, это будет твоя комната».

Просторная и светлая, почти что зала – всю ту городскую квартирку, где мы вытерпели наше общее детство, можно было легко вложить сюда, согнув в иных местах стены. Провозглашённый сестрой эстетический принцип на деле был обыкновенной безвкусовой эклектикой: в этой комнате, например, антикварные часы (десять тридцать девять) и массивный шкаф с позолоченной инкрустацией попали в одно помещение со стеклянным журнальным столиком и блестящим металлическим торшером, похожим на гигантский половник. В таком объёмистом пространстве каждый предмет существовал будто по отдельности. Вот бросился в глаза расписной ковёр с белыми стеблями лебединых шей и осьминогами винноцветных роз. Едва отвёл взгляд – и в нём застряла полутораметровая картина в медном багете. На ней пышно-телые подруги и крылатые пупсы преследовали похищенную Европу, испуганную и счастливую одновременно.

«Это мужу подарил сам губернатор. Привёз из-за рубежа».

Справа от картины широкая арка вела в лоджию, заставленную растениями. Мы зашли туда, в это маленькое зелёное королевство. Весёлые журавлики герани и пугливые мышата-незабудки, страстная гвоздика и скорбный асфодель, цве-

тущие опухоли кактуса и какие-то декоративные листовенные растения с глубокими седыми прожилками – всё было ухоженным и симметрично расположенным. Сестра любовно рассуждала о цветах, а я, наблюдая из распахнутого окна за волнующимися облаками и таинственно притихшим лесом, пытался остановить очередной вал воспоминаний. Мать позвала меня из-за стенки. Она требовала признаться, что я не полил цветы, как было приказано. Заставила ковырять землю пальцами —

«Я так люблю их. Знаешь, когда они цветут, я и сама чувствую себя цветущей, живой».

– земля была сухая, а цветы полумёртвыми. Мать схватила меня за шею и закричала. Голос царапал кожу. Я должен был смотреть на неё, смотреть и не отворачиваться, смотреть и не опускать глаза. Слышишь, гадёныш, не опускай глаза. Кабаньи клыки во рту, трясущаяся голова, шевелящиеся волосы. Смотри, гадёныш, смотри и не опускай глаза. Смотри на меня!

«Ты как будто меня не слышишь».

«Что? Нет... Нет, дело не в этом. Просто мне сложно понять, как ты можешь так любить цветы».

«А я решила, что могу всех любить. За двоих готова любить, только бы не задыхаться больше в ненависти, понимаешь?»

Но я не понимал, а потому просто пошёл обратно в комнату. Только тогда я увидел, что на ещё одной стене, над ка-

мином, висят и следят за мной пустоглазые звериные черепа. Семь охотничьих трофеев были развешаны в одну линию, выстроены по размеру: слева – бык с массивными серповидными рогами, правее всех – самый маленький и самый жуткий черепок, обезьяний, почти как человеческий, низколобый, с клыкастой улыбкой на слегка выпирающей челюсти. Я остановился, разглядывая обглоданные животные лица, а сестра направилась к выходу.

«Ты же голоден наверняка, да? Спускайся через полчаса, а пока отдохни, хорошо?»

«А третий этаж?»

«Он весь для сына, там не очень интересно. Если захочешь, покажу позже, или он сам покажет, когда приедет из школы».

«Я видел школьников по дороге – он учится вместе с ними? В поселковой школе?»

«Что ты, нет конечно же. У нас частная школа. И Льва, и деток наших соседей, и ребят из достойных семей из SZ туда возят. Хорошая школа, современные учителя, понимающие, с индивидуальным подходом. Там даже губернаторские дочери учатся. Вокруг здоровенный лес, природа, чистый воздух и всяческая красота. В сельскую школу я бы разве отдала своего ребёнка».

Оставшись наедине с черепами, я поставил стул у стены и поднялся, чтобы лучше разглядеть их. На державших головы досках заметил гравировки: год и место убийства, ви-

довое имя животного. Слева – бык гаур, *Vos gaurus*; за ним два некрупных буйвола – тамарау и аноа. Я переставил стул, чтобы познакомиться с остальными: антилопа и пара горных козлов, убитых с разницей в год; маленький обезьяний череп принадлежал серебристому гиббону, *Nylobates moloch*. Даже не будучи специалистом по млекопитающим, я понял, что муж сестры был избирателен в своих жертвах, умел находить нужных людей и платить необходимые деньги, чтобы получить право на убийство именно редких животных. Я видел его только на фотографиях и почти ничего не знал о нём, но известных мне мелочей было достаточно, чтобы составить представление о том, какой это человек, как он обращается с сестрой, да даже как он говорит и что думает. Знакомства с ним я ждал так, как ждут встречи с врагом, – предвкушая и одновременно желая, чтобы он никогда не появился, уехал по делам, а ещё лучше – попал в аварию, провалился сквозь землю, что угодно, лишь бы исчез навсегда.

Назначенные сестрой полчаса одинокого отдыха я отси- дел бездумно, установив перед памятью твёрдое стекло (та била, мелодично била, я слышал глухой стук; было ясно, что она пробьёт это стекло, но непонятно, как скоро). Смотрел на башню старинных часов, висящую на стене; на то, как покачивался между листьями-гирями золочёный цветок маятника. Десять пятьдесят шесть. Переводил взгляд на серые цифры на руке. Пятьдесят восемь, две минуты разницы – мои часы всегда точны. В одиннадцать (ноль две) башня за-

гудела. Остальное время я провёл в тишине, невнимательно рассматривая пространство и почти не всматриваясь в себя. Раздражение во мне, возникшее ещё на станции из-за попросаек, всё не исчезало. На семнадцатой минуте я пошёл вниз.

Весь поздний завтрак мой сестра сидела рядом, поглаживая кофейную чашку и задавая вопрос за вопросом. Иногда мои немногословные ответы уносило куда-то мимо её внимания, и она возвращалась к тому, о чём мы говорили минутой ранее. Спрашивала про отца: я отвечал, что он существует как прежде, что всё здоровье его осталось в бутылке и шприце, что я навещаю его редко, но каждый раз убеждаюсь – этих визитов более чем достаточно, отцу они вообще не нужны.

«Мы выросли, мать умерла, так что ему не над кем больше издеваться. Вот он и доживает впустую».

«Пожалуйста, не надо таких слов... Он всё ещё не хочет со мной разговаривать? Ты предлагал, чтобы я хотя бы позвонила?»

«Предлагал. Не хочет».

«И ничего не спрашивает про меня?»

«Ничего. Он даже внука видеть не желает. Я знаю, что он опять впускает к себе каких-то алкашей – не удивлюсь, если они когда-нибудь забьют его до смерти и обчистят».

Эту фразу я повторял про себя много раз в последние дни, чтобы в разговоре она прозвучала как можно страшнее. Сестра отреагировала ровно так, как я и рассчитал: сначала

ла, перепугавшись, вознамерилась тут же связаться с отцом; затем, передумав, попросила меня навещать его чаще; наконец, тихонько заплакала, придавленная той душной безысходностью, от которой и сама когда-то сбежала – сперва в университет, а потом сюда, в брачный капкан.

«Наверное, нужно попытаться переоформить квартиру на меня, чтобы с ней ничего не случилось. Ты ведь не собираешься на неё претендовать?»

«Я... Нет... Нет, конечно нет... Ты прав... Да, это нужно сделать...»

Успокоившись, она перевела тему на меня.

«Мы так давно не разговаривали. Я чувствую, словно мне нужно знакомиться с тобой заново, представляешь? Ты всё ещё живёшь в университетском общежитии? Ты сейчас один?»

«Что это значит?»

«Я имею в виду, есть ли у тебя кто-то близкий. Или ты так и живёшь один? Может, есть кто на примете?»

«Ты пропала, с тех пор я один».

«Я не пропала, ну зачем ты так. У меня началась самостоятельная жизнь. Мы же говорили об этом».

«Ты права. Да, я один, никого близкого».

«Я надеюсь, это скоро изменится, ты найдёшь кого-то. Всё совсем меняется, когда рядом с тобой есть любимый человек. И особенно когда есть ребёнок».

Так и продолжалось: её легковесные вопросы-водомерки

скользили по поверхности, она собирала пустяковые факты, а когда разговор заходил в тупик, пускалась в пошлые рассуждения о семейных ценностях, счастливом быте и прелестях уверенности в завтрашнем дне. О том, чем именно я занимаюсь в университете и не собираюсь ли куда-то отправиться в ближайшее время, она не спрашивала, поэтому большинство заготовленных ответов негодились.

С завтраком мы отмучились к полудню и после этого снова разбрелись. Сестра ушла в сад и возвращалась в дом время от времени – проконтролировать своё кухонное волшебство; я беспорядочно бродил по дому, а если встречал её, то нескольких фраз нам хватало, чтобы друг от друга устать так, словно мы и не расставались никогда, а остались теми же детьми, запертыми в комнатёнке со слишком скрипучим полом и слишком тонкими стенами. Трагическая разница между моей настоящей сестрой и этой нынешней её инкарнацией, поначалу выгрызавшая мне взгляд, теперь понемногу рассеивалась даже омерзительные губы я почти уже не замечал.

Я впадал в какую-то туманную отрешённость, вызванную, по-видимому, усталостью (два или три дня перед поездкой провёл практически без сна). Блуждал по дому, входил в одни и те же комнаты, но не узнавал их, и только спустя минуту или две понимал, что я уже был здесь совсем недавно и точно так же не мог сразу этого распознать. В вещах, которые в обычной ситуации могли показаться мне странными, я

сейчас едва отдавал себе отчёт, даже не мог толком удостовериться, были они реальными или нет.

Около часу дня я пошёл в гостевую ванную. Почувствовал боль – и на туалетной бумаге увидел пятно с яркой кровью (второй раз за неделю). В аптечке нашёл суппозитории с обезболивающим – просроченные, но один использовал. И вот когда я открыл кран, на раковину хлынула ржаво-грязная вода, с белыми частичками, крупными, похожими на гнойные струпья. Вся комната наполнилась резкой мусорной вонью, от которой заслезились глаза. Я попытался придушить кран, но он и закрытым продолжил сблёвывать мёртвую воду.

То ли в ушах, то ли в самих стенах что-то зацарапало, закрипело, а к мусорному запаху примешалась гниль, как от протухшего мяса.

Едва сдержав рвоту, я поспешил в другую ванную. Там было идеально чисто, и хорошо пахло, и вода текла самая обыкновенная, спокойная. Я умылся, протёр глаза так сильно, что они заболели. Мне казалось, что я слышу, как там, в другой ванной, продолжает хлестать вода, всё хлещет и хлещет. Я пошёл проверить – и столкнулся в коридоре с незнакомым, не виданным ранее человеком.

Он стоял в тёмной прихожей, с видом странным и ангельским. Глаза в круглых очочках были непропорционально большими, узкие губы сложились в тихую доброжелательную улыбку; зачёсанные назад волосы были седыми, как и

едва заметные усы. Он кивнул мне, держась рукой за лацкан старого пиджака.

«Ну здравствуйте, молодой человек. Отец дома?»

От вопроса я опешил и не сразу понял, что тот, по-видимому, задан по ошибке, хоть и обращён именно ко мне. Находился ли отец дома? Нет. Нет, дома никого не было. Ведь не было? Я не произнёс этого вслух, я совсем ничего, даже простого «нет», не сказал этому пожилому незнакомцу, объявившемуся без предупреждения и явно вообще без чьего-либо ведома. Но вопрос его, заданный с каким-то особенным добродушием, увяз в моём мозгу, меня точно зациклило, и бумеранг этих слов раз за разом возвращался: отец дома? отец дома? отец дома?

«Что ж, вижу, он не на своём месте. Тогда прошу вас, когда он возвратится, передайте ему от меня, что всё сделано. Достаточно этих двух слов: „Всё сделано“. Это катастрофически важно. Вы же сможете передать ему? Не подведёте моё доверие, дорогой друг?»

Незнакомец говорил со мной так, как обычно говорят с маленькими детьми, как говорили некоторые учителя – из тех, о которых у меня остались светлые воспоминания. Мы с сестрой никогда не пользовались большой любовью у других учеников, а вот среди педагогов были те, кто знал про нашу семью и тем или иным образом выражал своё сочувствие. Например, язык и историю нам позволялось пропускать в любое время – мы уходили в библиотеку и занимались теми

предметами, которые больше влекли нас, мечтавших погрузиться в то, что не связано с людским миром.

«Ну хорошо. Помните, я полагаюсь на вас».

Он кивнул на прощание. Уходя, обернулся через плечо, взирая назад – не знаю, видел он меня или кого-то другого на моём месте. После него на полу осталось несколько кусочков земли с подошвы – единственное достоверное свидетельство того, что ко мне была обращена некая речь, некая просьба, которую, впрочем, невозможно было исполнить, поскольку смысла её я не понимал.

Я прислушался: вода больше не хлестала, повсюду сучала тишина. Вернувшись в своё привычное одиночество, я ещё немного поскитался по дому, пока эти комнаты мне не осточертели, и выплыл во двор, пересёк сад, сомнамбулически дрейфуя по дорожкам. Вдруг залаял пёс – я вздрогнул от испуга, ведь совсем позабыл, что, только приехав, уже слышал этот лай. В детстве я отчаянно ненавидел собак, целая стая которых бродила на пустыре по пути в школу. Они, единственные из нечеловеческих животных, казались мне паскудными клыкастыми монстрами, опасными и кровожадными. Однажды две девочки постарше, из класса сестры, поймали щенка-бродягу и позвали меня с собой – каким-то образом они узнали или догадались о моей нелюбви к собакам. Я согласился, и мы пришли к старому сгоревшему дому. Щенок был там – измученный, изувеченный, беспомощный. Несчастнейшее создание – таким я увидел его,

самое несчастное на свете существо, гораздо несчастней, чем когда-либо был я сам. И когда эти умелые девчонки взялись играть с его лапами, его глазами и животом, когда полусмехом-полушёпотом стали зазывать меня присоединиться к их жуткой игре, я заплакал, я бросился наутёк. Ярость, настоящая ярость, которую я тогда познал, перечеркнула всю ту детскую злобу, что я чувствовал прежде. Собак я простил навсегда.

Воспоминание пронеслось передо мной, когда я вышел к вольеру. Пёс – громадная длинношёрстная овчарка – лаял не злобно, а приветливо, потом принялся поскуливать и высовывать широкий коричневый нос сквозь сетку. Он сидел как-то странно, неумело и так же неловко вскочил, когда появившаяся с другого края вольера сестра позвала его.

«Феля! Феля! Мальчик мой, хороший мой...»

Пёс хромал, припадая на левую сторону, – задняя лапа была ампутирована. Он обрадовался сестре, звонко залаял, и она засмеялась его великанскому добродушию и повторила ласковые слова. Хрупкая рука коснулась собачьей морды, пёс облизал пальцы. Я наблюдал за ними, и сквозь её человеческую речь и его звериную недо-речь мне слышался горький тайный звук, я слышал его всем телом, различил в нём новую, жгучую, огненнооранжевую ноту боли. Это была чужая, неразделённая боль – та, что когда-то испытало это искалеченное существо, но также и какая-то другая: боль замученного щенка из детства, боль девочки без мизинца, боль по-

резов, пощёчин, ударов —

«Видишь, какое горе недавно произошло. Лев гулял с ним позади дома, за забором, вон там, у кромки леса. Я была на кухне, вдруг он вбегает в дом и кричит что есть мочи: „Мама, мамочка, змея!“ Ну просто сумасшедший ужас. Думала, змея его самого ужалила. Потом уже поняла, что она на Фелю из ниоткуда бросилась, а может, это он ребёнка защитил. Да, мальчик мой? Хороший мой».

— боли было так много, словно посреди мирного пейзажа разворачивалась настоящая катастрофа, а я, обречённый свидетель её, мог только сострадать, пока иные страдали. Воздух наполняли отрывочные крики, одни голоса были малознакомыми, а другие — слишком узнаваемыми. Я один слышал их, а в то же время совсем рядом, почти в том же самом теле находился будто бы ещё один я, который не слышал ничего, кроме рассказа сестры —

«Уже был такой случай однажды, когда думали, не усыпить ли его. Но Лев его любит всем сердцем. А рана после укуса такая страшная была! Когда врачи ему лапу отрезали, муж решил, что хватит, решил всё сделать сам, встал перед ним с ружьём. Но — не смог. Представляешь? Слишком жалко стало. Даже прослезился. Я никогда не видела его слёз».

— теперь уже целая толпа воспоминаний нахлынула на меня. Сестра продолжала говорить, а из-за её спины выглядывали ненастоящие люди: мёртвые и живые, выдуманные и случившиеся, в масках и вовсе без лиц — и к словам, которые

говорила сестра, присоединялись их шёпоты. Они шептали обо всём, что мне хотелось забыть, и никак не унимались.

~~«Я даже лучше бы ты не рождался подумываю предложить главное не оставлять следов мужу организовать смётри мне в глаза какой-то благотворительный тебе это понравилась фонд, помощь зачем ты это сделал бездомным животным ты хочешь её или больным поче му Ариадна нам не звонит деткам. Это ты ведёшь себя странно не очень эй мальчик пойдёшь бездомныша му чить затратно, зато ты мне не сын полезно для хорошие девчонки разве нет общества и ещё одно слово и ты труп для нашей я вышла замуж репутации. Губернатор не смей так со мной разговаривать собирается уходить отец дома с поста удар через два удар с половиной ещё удар года, это признайся важный шанс ты хочешь сделать это снова для нас».~~

Пёс залаял, и где-то перед домом засигналил автомобиль, и шёпчущие лица мигом скрылись за сестрой, а она сама прервала беседу и, ничего мне не сказав, резко развернулась, побежала в сторону ворот. Я направился следом, неторопливо. Когда я снова увидел её, она, присев, почти касаясь дорожки коленом, обнимала и целовала вернувшегося со школы мальчика.

«...и мы попрофили отпугнуть наф пораньфе, а она нахмурилась и фкафала передать тебе, фто я фалопай. Мам, я фалопай?»

«Нет, сыночек, ты не шалопай. Это она пошутила».

«Ой, Мама, а кто этот фелофек?»

Прежде я видел Льва только на фотографиях. Тонкокостный и бледный, с зелёными, как у матери, но слишком широко расставленными глазами, сейчас он показался мне как бы не до конца живым, как искусно загримированный манекенчик, полупрозрачный, иноземный. Вид у него был любопытный, точно лик аксолотля – круглое лицо, приоткрытая улыбка с неправильным прикусом, беззлобный взгляд (впрочем, аксолотль хищник, и насчёт мальчика обманываться не следовало – мало ли, что таит детская жизнь; это опасение закралось во мне в первый же момент нашей встречи и показалось таким убедительным и знакомым, словно Лев сам мне его когда-то нашептал).

Свой вопрос он задал с едва уловимой ноткой испуга, будто не само моё появление, а именно что-то во мне его обеспокоило. Сестра стала объяснять: это твой дядя, мой младший брат, он приехал нас навестить. Непохоже было, чтобы Лев ранее слышал обо мне какие-то подробности. Видимо, он уже позабыл о самом факте моего существования, ведь прежде я являл себя только пару раз в виде невзрачных подарков на его дни рождения, а в последние годы, после окончательного разлада с сестрой, не было и этого. Разве следовало ожидать чего-то иного, спросил я себя, а в то же время опять почувствовал свою одинокость, оторванность от сестры. Я думал, нить, что связывала нас в детстве, просто выпала у меня из рук (с наивной надеждой её подобрать я и

приехал сюда), – на деле же она просто порвалась. Это ясно звучало в безразличных словах, которыми сестра описывала меня своему сыну. Да и сам этот мальчик был неприкрытым свидетельством нашего разрыва. Я бы никогда не позволил сестре водить шашни с кем бы то ни было и оказаться в таком положении, будь у меня достаточно власти над ней. Она бросила меня гораздо раньше чем я это осознал. И теперь превратилась в ту бастую шлюху.

«Львёнок, пойдём переоденемся, примем витамины, покусшаем, а потом пообщаемся с дядей».

«Хорофо... А на оферо мы пойдём?»

«Не знаю, посмотрим. Ты очень хочешь на озеро?» «Я офень-офень хофю на оферо».

«Ладно. Кажется, сегодня жарко будет, можем и сходить. Но только если ты обещаешь перед этим поуупражняться».

«Обефяю! Фефодня у меня „Пефенка героя“. Я пофти её фыуфил».

«Умничка. Вот мы с братом и послушаем, да?»

Сестра с сыном скрылись в доме, а я опять остался предоставлен самому себе, опять пустился в бесцельное плаванье и затерялся в саду. Разум, как маятник, то обращался внутрь, застревая в тенётах пугающих воспоминаний, то возвращался вовне: я разглядывал титаническое тело дома, его оливковую чешую, окна, черепицу; опускался к цветам, прикасался к ним, просто потому, что к ним прикасалась она, что она заботилась о них так, как больше уже не заботилась обо мне;

снова вышел ко псу, но на этот раз тот почувствовал что-то неладное и зарычал, так что я быстро повернул назад; оставался на дорожке и прислушивался к шумам и шорохам со стороны леса, к птичьей переключке, к голосам, доносившимся откуда-то с соседних островов, – голоса принадлежали чьим-то детям, чьим-то жёнам, собакам, охранникам, автомобилям, они были столь редкими и несущественными, что я и не расслышал бы их, если бы специально не искал отзвуков чужого присутствия.

Я совсем забыл о времени и, когда взглянул на часы, с удивлением обнаружил, что уже двенадцать минут третьего. В подобные моменты часы всегда служили мне успокоением – пока время шло вперёд независимо ни от чего, пускай даже и против моей воли, я мог быть уверен, что прошлое не дотянется, не бросится вдруг на меня; что оно способно только выглядывать из-за угла или из-за чьей-нибудь спины, напоминать о себе, путать рассудок, уговаривать, врать, обвинять, издеваться – но не способно схватить меня за шею, вывернуть руку, ударить по лицу, толкнуть так, чтобы потом пришлось прикрывать расшибленный лоб и стогать от стыда на голгофе чужих взглядов. Тринадцать минут. Пятнадцать. Семнадцать. Двадцать.

«Фрррум, фрррум! Дан фтарт фаефду!»

Лев появился из ниоткуда на новеньком спортивном велосипеде с яркой фиолетовой рамой, прокатил по дорожке – громко, трещоточно, сопровождая гоньбу звонкогласым

подражанием мотору, – и, обогнув недоумевающего меня, устремился вперёд, свернул влево, исчез на одной из садовых троп. Затем появилась сестра и встала рядом со мной, близкая и недостижимая, и весь цветущий вокруг неё мир был не более чем раковиной, тусклой кальцитовой пещерой, и никакая зелень, никакие цветы, даже само солнце не могли сравниться по яркости с её одуванчиковым платьем, жемчужными плечами и зелёными глазами. Это и была настоящая причина моего приезда – мне нужно было увидеть её снова, увидеть её такой, какой я видел её когда-то; убедиться в том, что я ещё могу видеть хоть что-то так, как умел видеть раньше. И в это незабвенное мгновение я мог сказать себе: да, ты всё ещё тот, кто ты есть; ты не какое-то чужеродное чудище; а вся та чужеродность, что ты в себе обнаружил и что уже однажды овладела тобой, – от неё ещё можно спастись, её ещё возможно изничтожить, если найти в себе достаточно человеческого. ~~Хватит уже думать про эти губы про кровать в её комнате про то что творит с ней по ночам её нынешний хозяин.~~

«Если бы ты только знал, какая мука это была, когда он появлялся на свет. Сколько часов мы с ним мучились. Я взяла его на руки, подумала, что родился мёртвым. А он родился самым живым».

Смеющийся колесолапый весельчак снова прокатил мимо. Я посмотрел вслед – новое воспоминание встало перед глазами. Мне девять или десять лет, нас единственный раз

посетила двоюродная тётя. Она приехала из-за границы, подтянутая, бронзовокожая, насмешливая, – в голове не укладывалось, как она и наша мать попали в одну семью (другие же её родственницы все были жуткой породы, быстро состарившиеся, пустоглазые и беззубые, и появлялись только чтобы занять денег; а о родственниках отца мы ничего не ведали, он был сиротой). Узнав, что у меня никогда не было велосипеда, тётя возмутилась и в тот же вечер, перед самым отъездом, привезла невероятный велик – высокий, совсем взрослый, с блестящей маслянистой цепью, с салатовыми ободами колёс. Вряд ли даже кто-то из одноклассников мог похвастаться таким чудом —

«Дважды я его чуть не потеряла. Первый раз после родов – он совсем не дышал. Ты понимаешь? Он две недели не мог сам дышать, но сердце и мозг работали как часы. Врачи разводили руками, когда всё поправилось. Ты понимаешь? Ты помнишь, что мама про тебя то же самое рассказывала?»

– пытаться опробовать велосипед в тот же день было уже поздно, и, когда мы проводили тётю, я отправился спать с грандиозной детской мечтой, которая вот уже скоро, вот уже завтра утром должна была осуществиться. Проснувшись, я вышел в коридор, где мы оставили велосипед (сестра, хоть и не была заинтересована в том, чтобы самой научиться кататься, пообещала пойти со мной и помогать мне, пока я ещё не знаю, как держать равновесие), но его там не было. Я зашёл на балкон, заваленный всяким хламом, – вдруг родите-

ли затащили его туда. Нет, велосипед пропал —

«А другой раз – со змеёй этой. Я теперь думаю, что только здесь чувствую себя в безопасности, а вне дома – нет. На озеро вот он хочет пойти, а мне страшно самой. Не знаю, что случится, если я его потеряю».

– весь день я провёл в отчаянии, даже сестра не могла ничего со мной поделать. Родители вернулись затемно. По мордам и вони было понятно, где они шлялись. Обычно, пока они в таком состоянии, я скрывался в нашей комнате, где сестра успокаивала меня, где можно было переждать бурю, извержение вулкана и весь прочий родительский гнев. Но в тот раз я вышел к ним, как будто ничего не боясь. Я спросил, куда исчез мой велосипед. Отец прошёл мимо, не замечая меня (я машинально вжался в стену). Мать безучастно заговорила, словно сама с собой, о том, как утром они захотели дышать, запрягли велосипед, и отец решил его испробовать, и велосипед сломался под отцовским весом, поэтому они выбросили его на помойку. Что поделать, заключила она, сейчас хороших вещей больше не делают. Когда я сквозь слёзы крикнул ей, что не верю в эту ложь (они не в первый раз, оставшись без денег, продавали наши вещи), мать заговорила снова, с самого начала, теми же самыми словами. Из родительской комнаты прогремел голос отца. ЭТО КТО ТАМ ХНЫЧЕТ. Обычно после этой фразы он заставлял меня отжиматься «по-мужски» – на кулаках, – или хватал за голову своей исполинской рукой и сдавливал, пока я не перестану

всхлипывать. Я задушил плач и ушёл в нашу комнату, сестра обняла меня и поцеловала в лоб. Я так никогда и не научился кататься на велосипеде.

«Хотя что это я такое говорю. Не слушай меня, это глупости, материнские чувства. Конечно, со всяким беда может случиться, но мы от этого защищены лучше многих. Просто иногда темно на душе, сам знаешь».

Так мы и стояли, обмениваясь редкими фразами, пока резвившийся мальчик то появлялся, то исчезал. Скоро гонка ему наскучила, и он подъехал к нам, остановился и улыбнулся своей жалкой прогнатической улыбкой, в которую кроме радости и удовольствия будто бы прокралось что-то ещё, что-то неуловимо печальное и невыразимое, секретно-детское. Сестра обняла его и расцеловала, а затем мягко, но настойчиво указала, что пора заниматься музыкой. Лев послушно покатил велосипед к дому. Тридцать семь минут третьего.

Мы пошли вслед за мальчиком, и я решил-таки признаться сестре, что в дом заходил незнакомый человек, который, по-видимому, искал её мужа. Я и подумать не мог, что моё ангелоподобное коридорное видение остановит её шаг и необъятным ужасом распахнёт глаза, и изо рта её раздастся гонговая дрожь.

«Ч-что? Что т-ты такое сказал? Что, что ты с-сейчас сказал?»

Убедить сестру в том, что даже я сам не могу быть уве-

рен, видел ли кого-то наверняка, мне не удавалось. Здесь не должно быть никаких незнакомцев, несколько раз повторила она. Кого она испугалась? Кого-то конкретного? Я спросил это – а сестра в ответ упрекнула меня, что я умолчал о случившемся, хотя обязан был сразу же во всём признаться. Как бы мне хотелось во всём ей признаться. Она приказала, чтобы я пошёл ко Льву, а сама направилась к воротам – предупредить охрану. Я подчинился. Тридцать девять минут на подаренных ей часах перекорёжились, превратившись в стаю сорок.

Парой минут позже, утащив с кухни терпкое яблоко и поднявшись на третий этаж дома, я очутился во владениях Льва. Ничего здесь не напоминало о взрослых комнатах нижнего мира, этот рай был выстроен по-особому и существовал как бы параллельно. Стены просторного холла покрывали яркие фотообои, с них из густоты джунглей тарацились всевозможные животные: лемуры, тулканы, пантеры, носороги, орангутаны, тигры, попугаи, питоны, хамелеоны и даже, по необъяснимой причине, хохлатый пингвин. На полу расстелился идиллический ковровый городок: дороги без машин, море зелёной травы и повторяющиеся красочные здания школ, больниц, полицейских участков, пожарных станций, обсерваторий, магазинов, ресторанов – словно ребёнка по какой-то причине понадобилось уверить, что в первую очередь они, а не обезличенные многоквартирные темницы составляют настоящую плоть городов. Этаж был поделён

всего на три комнаты, каждая – невероятных размеров; места хватило бы и на десять детей, но царствовал здесь один-единственный.

«Мама фкафала, фтобы я покафал фам мой дом. Не бой-тефь!»

«Почему же я должен бояться?»

«Меня охраняет фелая армия!»

Мы вошли в первую из трёх комнат – городской ковролин сменился пустынным; из песка настенных дюн вырастали барханы и оазисы; с одной из стен за мальчиком присматривала улыбчивая сфинга, сидящая на разрисованной фло-мастерами колонне, – присматривала, быть может, с тех ещё времён, когда Лев был четвероногим. По комнате и правда была разбросана игрушечная армия. В замке высокой детской кровати, куда забираться нужно было по лесенке, укрылись плюшевые звери, ещё больше их скрывалось в пространстве под кроватью, наполовину закрытом тёмно-зелёной шторкой. Десятки пластмассовых солдат и машин львиный ураган раскидал по всей комнате. Мальчик поднял фигурку рыцаря, укрывающегося щитом, продемонстрировал её мне, отбросил и потянулся за следующей. Военный барабанщик с подвижными, сгибающимися в локтях руками. Разъярённый краснолицый самурай во всеоружии. Сарацин, натянувший лук. Наполеон, отдающий приказ. Зеленокожий дракон, распахнувший крылья. Минотавр готовый разорвать жертву.

У этого плюгавого мальчонки уже сейчас было больше своего: пространства, вещей, игрушек – чем у меня за всё моё детство. Я почувствовал себя униженным, и Лев, возившийся в этот момент с гонцом-всадником и вскинувшим топор викингом, показался мне отвратительным, избалованным, бессовестным воришкой, которого я поймал теперь с поличным, а он даже не думал раскаиваться. Без пятнадцати.

«По нофям они иногда офыфают, но не кафдый раф».

Мы перешли во вторую комнату – здесь сияли волшебной синью арктические ледники и горело аврорное небо, под которым бродили белые медведи и северные олени. В этой комнате-арене устраивались немейские игры: бесчисленные турники, кольца, сетки и брусья должны были помочь вырастить из субтильного Льва здорового и физически развитого мужчину. Мальчик тут же полез по качающейся верёвочной лестнице, но через несколько реек устал и теперь просто повис на ней, не решаясь спуститься обратно, словно под ним и впрямь был не пол, а ледовитый океан.

Энергии у Льва было хоть отбавляй, рядом с ним я казался себе неуклюжим чучелом в тяжелейшем скафандре. Я нёс на себе тонну воспоминаний, любая мелочь останавливала мою мысль и запускала очередной поток образов, в то время как он жил ещё в беспамятстве. Впрочем, и про меня в его возрасте чужое взрослое тело могло подумать нечто подобное, хотя я уже и в детстве о беспамятстве мог только мечтать. Без десяти.

«Папа гофорит, фто фпорт фделал иф обефьяны фелофе-ка!»

Мы пришли в последнюю комнату – стены опустились под воду, расцвело коралловое дно, раздражающе аляповатое из-за того, как беспорядочно производитель обоев натякал обитателей рифа: всевозможных сержантов, лоцманов, хирургов, кардиналов, императоров и, конечно же, клоунов (дядя мне очень нужно у меня мама болеет). Третья комната Льва была школьной: широкий стол-секретер, плакаты с правилами артикуляционной гимнастики, пюпитр, огромный рельефный глобус, книжный шкаф (единственной замеченной мной книгой вне этой комнаты был томик с императивом «Думай и богате́й» на обложке, лежавший на журнальном столике).

Я уставился на книжки, не слушая, что мне рассказывает Лев, нашёл и достал с полки тот самый сборник мифов и сказаний, который три года назад прислал ему в качестве подарка. На обороте я тогда даже оставил какое-то жалкое подобие поздравительной надписи. Вид книги доставил радость – частично содранный корешок, искаляканные страницы, несколько вырезанных иллюстраций. В эту минуту в комнату вошла сестра (спрятав страх за дверью); книгу она признала тут же.

«Ах да, это же ты нам прислал. Лев её обожает. Он кроме неё и ещё пары энциклопедий ничего читать не желает. Правду я говорю, львёнок?»

«Это прафда. Я офень люблю эту кнйфку. Мне кафетфя, фто я теперь ффё про фаф фнаю».

Фраза прозвучала почти зловеще, но сестра, похоже, пропустила её мимо ушей. Она сказала Льву, что пора играть, и мы сели на стулья, приставленные к стене, по которой плыл серебристый скат. Сестра была так близко, что стоило слегка наклониться, как до меня доносился её запах, тот самый кумариновый, сладковатовядкий аромат, который преследовал меня с тех пор, как она ушла. Мальчик открыл ноты, достал из узкой чёрной коробочки латунную флейту и приложил к губам. Первые пять-шесть тактов торжественная мелодия чувствовала себя неплохо, но потом споткнулась раз, и ещё один, и стала отставать от заданного темпа. Быстро стало понятно, что у Льва нет музыкального слуха и даже эта ученическая песенка ему не по зубам. Сестра сидела не снимая фальшивой ровной улыбки. Я тихо спросил её, давно ли Лев занимается с инструментом.

«Второй год только. У него пока в груди не хватает воздуха для музыки. Так учитель говорил. Зато я смотрю на него, и на сердце светло становится. Мой мальчик... У него и сестрёнка могла быть, ты знаешь...»

Лицо его покраснело, беспомощные пальцы-лепестки не успевали за мелодией. Лев сдался, не доиграв, и расстроился, но сестра ласковыми уговорами убедила его попробовать ещё раз. Получилось хуже прежнего. Пока мальчик укрощал песенку, мы переговаривались, в основном сестра рассказы-



(неоднократно сломанный, наверняка ещё до того, как хозяин так раздобрел). Протянутую руку украшали два золотых перстня и кварцевые часы с бриллиантовыми вставками. Рукопожатие больше походило на попытку сломать мне пальцы – испытание я выдержал достойно.

«Ну здоров, шурин, очень приятно. Наконец-то познакомились!»

Вот он, вот тот, кто украл у меня моё море, мою Панталасу. Я толком не знал даже, как сестра попалась ему на глаза. Может быть, он тогда работал в нашем сером городе или приехал по делам, и всё произошло случайно; может, кто-то её привёл прямо к нему в лапы. В тот год, когда я заканчивал школу, она вдруг объявила, что уходит из университета и уезжает к нему. Следующие пару лет совсем не давала о себе знать и только потом объявилась, Лев к тому времени уже родился. От чужих несдержанных языков я слышал: блестящая студентка пошла по наклонной; дурная наследственность дала о себе знать; присосалась к золотому тельцу. Сестру я о нём никогда не спрашивал, мне противно было об этом говорить.

«Дорогой, Лев умоляет нас пойти на озеро».

«Ну а чё, пойдём. Ща переоденусь. Шурин, ты ведь с нами?»

Я ответил согласием, стараясь не демонстрировать своей неприязни – я решил быть при нём холоден и спокоен независимо от того, что творится внутри. Тринадцать минут спу-

стя вся семья появилась переодетой: Лев с отцом в одинаковых спортивных костюмах, у обоих под рукой полотенце; сестра в бирюзовом платье, теперь с закрытыми пелериной плечами, но оголёнными коленями (на левом я признал полюбившийся с детства шрам, заработанный в дворовой драме за гаражами). Мы прошли по саду под приветственный псиный лай и вышли через задние ворота. За ними, сразу после параллельной заборам тропы, начинался лес. Он беспокойно зашелестел, сестра внимательно посмотрела на меня, точно пытаясь выяснить, чувствую ли я одну с ней тревогу. Я чувствовал, и чувствовал с особенной ясностью, какой неуютной и непривлекательной могла оказаться жизнь в этом шикарном по меркам провинции, закрытом от чужих глаз и, казалось бы, совершенно безопасном архипелаге внутри зелёного моря. Насколько же лживыми были её слова о семейном счастье и удовольствии от такой скучной, гигиеничной и несвободной жизни! Но только я успел это подумать, как она отвернулась, переключила всё внимание на сына, а Капитан похлопал меня по плечу и принялся рассуждать о том, что нужно от мира нормальному человеку.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.